ЛБ15 553

Акад. С. Ф. Платонов

1513 553

Москва и Запад в XVI-XVII веках

Издательство „Сеятель“
Ленинград 1925

Книгоиздательство „СЕЯТЕЛЬ“ Е. В. Высоцкого.
Ленинград, пр. Володарского 34. Тел. 2-10-20 и 5-47-76.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Математика.

АСТРЯБ А. М.—Наглядная геометрия. 1 20
ЕГО ЖЕ.—Курс опытной геометрии 1 25
ЕГО ЖЕ.—Задачник по наглядной геометрии. 1 15
БЕМ Д. А. и КОТОВИЧ. В. И.—Теоретическая арифметика. 1 40
ГИЛЬБЕРТ Д.—Основания геометрии. под ред. проф. *А. В. Васильева*. 1 20
ЖИТОМИРСКИЙ О. И. — Аналитическая геометрия 1 75
КИСЕЛЕВ А.—Элементарная алгебра 1 50
ЕГО ЖЕ.—Геометрия 1 50
ЕГО ЖЕ.—Иррациональные числа. . . . . — 25
КОБЕЛЕВА Е. Н.—Сборник задач по геометрии . . . . . — 80
КУЛИШЕР А. Р., проф.—Методика и дидактика геометрии 1 50
КУПЕРШТЕЙН В. М. и ШАЛЫТ Е. Г.—Зап. по метод. арифмет. ч. I.— 90
ИХ ЖЕ. — Записки по методике арифметики ч. II. . . . . 1 —
ПОПОВ Г. Н.—Культура точн. знания в древн. Перу (в связи с развитием узлового счета и письма) . . . . . — 30
ЕГО ЖЕ.—Псаммит Архимеда. Перев. с комментариями и кратким очерком научной деятельности Архимеда . . . . . — 35
СИГОВ И. А., проф.—Начальная математика. Элементы геометрии и арифметики для рабочих 1 80
ТАМАРКИН Я. Д. и СМИРНОВ В. И. — Курс высшей математики. 6 —
УСПЕНСКИЙ Я., акад. — Введение в Неевклидову геометрию Лобачевского-Болиаи. Стр. 178. . . . . 1 —
ЕГО ЖЕ. — Избранные математические развлечения 2 50
ШАЛЫТ Е. Г. — Наглядная геометрия. 1 15

Физика.

ВЕЙНБЕРГ Б. проф.—Новое в старом. Беседы по физике. . . . . — 50
ЕГО ЖЕ. — Твердые тела, жидкости и газы. 1 20
ГЮНТЕР Г.—Технические мечтания . . . . . — 90
МЭНН К.—Как учить физике. Перев. под ред. проф. *А. П. Афанасьева*. 1 20
МИЗЕС Р. — Основные идеи современной физики и новое мировоззерцание. Перевод под редакц. *Я. И. Френкеля*. . . . . — 40
ПЕРЕЛЬМАН Я. И.—Физическая хрестоматия. Пособие и книга для чтения по физике ч. I. Стр. 232. . . . . 1 40
ЕГО ЖЕ.—Физическая хрестоматия. Часть II. 1 50
ЕГО ЖЕ.—Полет на луну (2-ое изд.). . . . . — 25
ПИОТРОВСКИЙ М. Ю., проф.—Физика в летних экскурсиях. 2-е изд. исправленное и дополненное . . . . . 1 —
ЕГО ЖЕ. —Физика на открытом воздухе. 2-е изд. дополнен. . 1 50
РОЗИНГ Б. Л., проф. — Теплота. » » » » » . — 90
ЕГО ЖЕ.—Беседы по физике. Механика в жизни 1 20
ЕГО ЖЕ.— » » » Теплота в природе и жилище . — 90
ФРЕНКЕЛЬ Я. И.—Строение материи ч. I.—Расчленение материи. 1 —
ЕГО ЖЕ.—Строение материи. Ч. II. Сочленение материи. Вып. 1-й 1 75
» » » » » » Вып. 2-й 2 —
ЦЕНТНЕРШВЕР М.—Радий и радиоактивность 1 20
ЭЙНШТЕЙН А.—Основы теории относительности.—4 лекции, прочитанные в Пренстонском университете. . . . . — 75

Из серии «Физика и химия в технич. экскурсиях».

БИЗЮКИН Д. Д., инж.—На железнодорожной станции 1 50
ЕВАНГУЛОВ Е. М. проф.—На металлургическом заводе. . . . . — 85

1615
553

Академик С. Ф. ПЛАТОНОВ

МОСКВА И ЗАПАД

В XVI—XVII ВЕКАХ

1925

416/8

ГРАФИЧЕСКИЕ
МАСТЕРСКИЕ
ЛЕНИНГРАД,
Ковенский, 2.

ооооо

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

87084/V м

Ленинградский Гублит № 4441. Тираж 3000 экз.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Предисловие 5

ГЛАВА ПЕРВАЯ. — *XVI-й век и Смута* . . . . . 7—55

I. Басня о рыцаре Поппеле. Иноземцы в Москве до времени Ивана Грозного, 7—9. II. Русский вопрос в Европе в середине XVI века, 9—12. III. Шлитте и система блокады московских границ, 12—20. IV. Северный морской путь к Московию. Англичане и голландцы в Москве. Ливонская война и „полон". Нарвское плавание, 20—25. V. Грозный и иностранцы, 25—31. VI. Общение русских людей с иностранцами. Иноземная слобода в Москве, 31—35. VII. Идейное влияние Запада, 36—37. VIII. Иностранцы в Москве при Б. Годунове, 38—41. IX. Иностранцы в Москве при первом самозванце. Польский погром в мае 1606 года, 41—50. X. Иностранная интервенция в Смутные годы, 50—55.

ГЛАВА ВТОРАЯ. — *Первая половина XVII века* . . . . . 56—104

I. Первые годы новой династии и вопрос о заимствованиях, 56—59. II. Возобновление мирных связей с иностранцами при царе Михаиле Федоровиче. Голландские и английские агенты в Москве, 59—63. III. Наплыв в Московское государство и в Москву торговых и военных иностранцев. Регулярные иноземные полки, 63—65. IV. Православные приходцы с востока и Украины, 66—68. V. Отношение московского общества к культурным заимствованиям. Первые „новаторы": тип оппортюниста (И. Т. Грамотин) и тип ищущего истины (князь И. А. Хворостинин), 68—78. VI. Охранители и блюстители веры и старого обычая (Иван Шевелев-Наседка), 78—83. VII. Архимандрит Дионисий и его значение в современном ему обществе, 83—90. VIII. Ученики Дионисия (Иван Неронов, Симон Азарьин), 90—93. IX. Официальная тенденция (князь С. И. Шаховской), 93—96. X. Охранители рынка — Московские торговые люди и их союзники из других классов общества, 96—104.

Стр.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. — *Вторая половина XVII века* . . . . . 105—150

I. Внутренний кризис в Московском государстве в середине XVII века; его общий смысл, 105—109. II. Перелом в общественной жизни Москвы и начало эмансипации личности. Новые типы (Ф. М. Ртищев и А. Л. Ордин-Нащокин; А. С. Матвеев и князь В. В. Голицын; Г. К. Котошихин), 110—123. III. Положение иностранцев в Москве во второй половине века. Обруселые торговые семьи и иностранное офицерство, врачи, 123—133. IV. Украинцы и греки с их „учением". Школьная схоластика и польское влияние, 133—141. V. Петр Великий в его отношении к культурной обстановке, 142—150.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемом труде автор не имел претензии дать исчерпывающий очерк сложного и не во всем объеме исследованного вопроса европеизации России. Его целью было указать на главные моменты этого культурного процесса; материалом же служил тот круг научных пособий, в котором слагался его университетский курс. Автор почувствует себя вполне удовлетворенным, если внушит читателям убеждение, что связь Московской Руси с Европейским Западом завязалась ранее и была крепче, чем обычно принято думать. На более ранние эпохи поэтому автор обратил в своем изложении наибольшее внимание.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

XVI-й век и Смута

I

Надо перестать верить старой басне о том, что в 1486 году некий немецкий рыцарь Поппель, странствуя по мало известным в Европе отдаленным краям, каким-то образом попал в Москву и, воротясь домой, рассказывал императору Фридриху III о Москве, как о своем политическом и географическом открытии; а пораженный будто бы его рассказом о могуществе Москвы император послал того же Поппеля в Москву просить у великого князя Ивана III руки его дочери для своего́ племянника и в вознаграждение за это предложить московскому князю королевский титул. Это сам Поппель хвалился в Москве, во второй свой приезд в 1488 году, что только от него в Германии узнали, насколько могуществен и богат „вельможный и борзомудрый государь“ Иван III. Но похвальба эта была пустая и лживая. Она свидетельствовала о том, что Поппель был легкомысленный и неумный человек. Такие свойства Поппеля с особой яркостью выразились и в сохранившемся до нашего времени его наивном и невежливом письме к великому князю Ивану III (в 1490 году) с жалобами на бояр и с разными мелкими просьбами. Достаточно прочитать это послание, чтобы уразуметь всю несерьезность его автора и чтобы одобрить отзыв о нем москвичей, что Поппель „писал к государю к нашему свою грамоту не по пригожу“, не так, как пишут великим государям. Когда Поппель рассказывал в Москве, что он открыл для Европы Московское государство, Москва была уже открыта для иноземцев. Аристотель Фиора-

ванти уже построил в ней Успенский собор, освященный в 1479 году, и строил другие церкви, работал на пушечном дворе и чеканил монету. Иные мастера-иноземцы (Антон Фрязин, Марко Руффо, Пьетро Соларио, Алевиз) с участием того же Аристотеля строили Кремлевские башни и стены. Начиналась постройка каменных „палат" Кремлевского дворца. В Италию посылалось посольство за посольством для набора техников и мастеров всякого „дела". По приглашению из Москвы и без всякого приглашения ехали в Москву на службу итальянцы, греки и немцы („Ольберт немчин из Любка"). Для всех для них дорога шла на Русь через ту самую Германию, где будто бы только от Поппеля узнали о Москве. Лет за двадцать до откровений Поппеля московское правительство вело уже дипломатические сношения с итальянскими дворами и намечался брачный союз Ивана III с находившейся у папы греческой „деспиной" царевной Палеолог. С появлением же в Москве этой царевны Софии Фоминишны и ее свиты (1472 г.) было положено прочное начало московской иноземной колонии, из которой вышло немало великокняжеских дипломатов. Один из них — Марко Руффо вывез из Персии в Москву венецианского дипломата Контарини, едва не погибшего во время своего посольства. Попав в Москву (за десять лет до Поппеля — в 1476 году), Контарини нашел там много итальянцев и греков и свел со всеми ими тесное знакомство. Для него оказалось возможным снарядить из Москвы в Венецию посланца за деньгами, и он спокойно ожидал в Москве его возвращения, проведя там всю осень и часть зимы 1476 года. Наблюдая московскую жизнь, Контарини узнал, что „в Москву во время зимы съезжается множество купцов из Германии и Польши для покупки различных мехов". В начале 1477 года, ранее, чем он расчитывал, Контарини был отпущен из Москвы частным порядком, без конвоя, с одним лишь „приставом" (un huomo del signore) и направился на родину через Литву, Польшу и Германию тем самым торным путем, каким ездили в Москву польские и немецкие купцы. На дороге, в Иене, он встретился со своим посланным, который вез ему из Италии деньги, и затем с ним

вместе благополучно прибыл домой в Венецию. Все приведенные здесь мелкие подробности свидетельствуют ясно о том, что к исходу XV века сношения московского двора и рынка с Западом были уже завязаны, и Москва вовсе не нуждалась в том, чтобы ее „открывали“ странствующие рыцари. Правда, эти сношения ограничивались потребностями политики и торговли и еще не разрастались в общую культурную связь. Но для такой связи почва не стала готова и двумя столетиями позже.

II

Если мы усвоим себе мысль о том, что Москва еще с XV века была знакома с иностранцами, сносилась с европейскими правительствами, допускала на свои рынки (в Новгороде и Москве) иностранных купцов, принимала на службу иноземных мастеров и техников,—то для нас не будет ничего удивительного в той роли, какую принял на себя довольно известный авантюрист середины XVI века Ганс Шлитте. Он побывал в Москве в годы отрочества и юности Ивана Грозного, занимался там коммерцией, изучил русский язык и, как многие иноземцы той эпохи, стал агентом московского правительства по сношениям с Западом. Ему было поручено навербовать за границей всякого рода сведущих людей и доставить их в Москву. Шлитте обратился за этим делом в Германию и обставил его необычными атрибутами. Он выдал себя императору за посланника московского государя, имеющего дипломатическую миссию. От лица Ивана Грозного он предлагал Карлу V начать переговоры об унии православной церкви с католической. Правда, в грамоте Грозного не было и помина о соединении церквей: грамота содержала только просьбу разрешить проезд в Москву мастеров и ученых людей. Но для Шлитте было важно придать делу именно такую окраску религиозного характера. Нет нужды считать его утопистом и фантазером; у него, повидимому, был чисто практический расчет на личные свойства императора Карла V и на обстоятельства того политического момента. Шлитте представился императору в Аугсбурге, в дни наибольшего тор-

жества Карла-католика над протестантскими князьями Германии. Происходя сам из Гослара, протестантского города, Шлитте должен был засвидетельствовать перед Карлом, для успеха своего дела, свою ортодоксальность. Он сделал это очень ловко, представив католическому монарху возможность торжества не только над протестантами в Германии, но и над православием в Москве. Льстивое средство подействовало: император дал разрешение Шлитте приглашать нужных ему людей под условием, что никто из них не проникнет к туркам, татарам и вообще в нехристианские земли. Шлитте набрал 123 человека, по современному известию, „докторов, магистров и других ученых, колокольных, рудокопных и золотых дел мастеров, зодчих, гранильщиков, колодезников, бумажников (papirmaker), лекарей, типографщиков и других подобных художников". Все они были доставлены в Любек для дальнейшего следования на Русь, но здесь задержаны. Сам Шлитте был даже арестован в качестве яко бы неисправного должника до уплаты долга городу Любеку и посажен в тюрьму; а пока шло дело о его освобождении, собранные им люди разбрелись. Предприятие таким образом расстроилось.

Причина этого заключалась, конечно, не в задолженности Шлитте. Набор мастеров и ученых для Москвы, шедший в Германии, огласился очень быстро. Хорошо знакомые с московскими делами ганзейские руководящие сферы не поверили тому, что Москва согласна на соединение церквей, и учли все возможные последствия свободного обмена людей между Москвою и Западом. Из Ревеля официально писали в Любек, в центр Ганзейского союза, прося не пропускать Шлитте в Москву во избежание тех страшных бед, какие последуют не только для Ливонии, но и для всей немецкой нации, если московиты усвоят себе военное искусство и вообще технику Запада. Эта боязнь Москвы владела не одним Ревельским „ратом", но и другими соседями Москвы. Когда, убежав из Любека, Шлитте возобновил свою интригу в пользу Москвы не только в Германии, но и в Риме, играя все на той же идее церковной унии, то против него выступило и польское правительство. Оно в 1553 году послало к императору и папе

специальные посольства с тем, чтобы объяснить им всю тщету надежд на сближение с Москвою. Совершенно справедливо поляки указывали на непримиримое отношение русских к папе и католичеству и на несбыточность союза с Москвою против турок. Так же, как и ганзейцы, поляки боялись военного усиления Москвы и раскрывали перед папою те опасности, какие грозили бы Европе в случае чрезмерного усиления московского великого князя. Таким образом, благодаря интригам Шлитте, пред Европой впервые конкретно стал вопрос о „русской опасности“ и о необходимости вести в отношении Москвы политику изоляции и репрессий. Как император, так и папа насторожились и на все те предложения союза и тесного сближения, какие Шлитте делал облыжно от имени Грозного, они отвечали или уклончиво, или же прямым отказом. Ганзейские же и ливонские города твердо усвоили манеру не пропускать через Московскую границу ни людей, которые могли бы „цивилизовать“ Москву, ни товары, которые могли бы усилить боевую мощь московского государя. Москва протестовала против этой политики ливонских властей; в 1551 году она грозила им даже войною, если они будут стеснять на границах русскую торговлю и задерживать едущих в Москву иностранцев. При таких условиях русским оставалось всеми способами добывать нужных им техников помимо гласных и официальных путей, и наиболее удобным обходным путем, повидимому, они считали Данию, под флагом которой можно было провозить с меньшим риском необходимых людей и грузы. Любопытен в этом отношении один случай, когда Москва получила необходимого специалиста именно от Дании. В 1535 году в войне с Литвою Москва впервые узнала прием штурма крепости посредством подкопа, мины: именно в этом году литовские войска взяли у Москвы город Стародуб с помощью „подкопа по подземелию ко граду“. Московский гарнизон Стародуба погиб потому, что „того лукавства подкопывания не познали, что наперед того в наших странах не бывало подкопывания“. В Москве решили перенять и усвоить „лукавство подкопывания“ и ко времени взятия Казани (1552) уже имели у себя в войсках „немчина хитра, навычна град-

скому разорению“, у которого были уже и „ученики“, ведшие подкопы под Казань одновременно с учителем-немчином. По имени этого учителя, — Размуссен (москвичи произносили: Размысл), — заключаем, что он был датчанином, добытым Москвою из Дании. Это, конечно, не единственный случай сношений такого рода с Данией: известно, например, что в начале 1553 года Грозный обращался к датскому королю Христиану III с просьбою пропустить к нему в Москву какого-то Арнда „с цесаревыми людьми“. По условиям того момента „цесаревы люди“ не могли проникнуть в Москву ни через Ливонию, ни через Литву; оставался путь чрез Данию.

III

Так обострился в 50-х годах XVI столетия вопрос о сношениях Москвы с Западом. Перенесенный в сферу политики, он получил неблагоприятное для Москвы разрешение. Но как раз в эти годы произошло в Московской жизни событие, на вид случайное, на самом деле стоявшее в тесной связи с общим ходом международной жизни Запада. Событие состояло в том, что в устье Северной Двины в 1553 году зашел английский корабль „Edward Bonaventure“, в 160 тонн, принадлежавший к той экспедиции, которая была снаряжена компанией или обществом английских купцов для отыскания морского пути в Китай („Cathay“) и Индию по северным морям. Такого пути найти не удалось; из трех кораблей два со всеми людьми замерзли в „становищах“ на русском берегу Ледовитого океана, а третий, вместо Индии, попал к русскому Николаевскому Корельскому монастырю в южную часть Двинской дельты. Это было 24 августа. Капитан корабля Ричард Ченслер (Richard Chancellor) проехал с моря в главный русский поселок на Двине — в г. Холмогоры. Оттуда дали знать о появлении торговых английских „немцев“ в Москву, а из Москвы последовал приказ доставить их в столицу. На зиму Ченслер с „гостями“, то-есть с купцами и с прочими спутниками, отправился в Москву, а его корабль с экипажем был укрыт в Унской губе, далеко врезанной в материк.

Появление англичан в Москве совпало с теми огорчениями, какие пришлось русским людям переживать от закрытия западной границы. Оно давало надежду на благополучный выход из создавшегося кризиса. Вместо балтийских гаваней и Смоленского рубежа, необходимые люди и товары могли проникать в Московское государство „божьей дорогой — океан-морем“ через Двинское устье. Притом английские корабли, как оказывалось, могли доставлять товары прямо из европейских гаваней без перегрузки в пути. До тех пор русские люди пользовались Беломорским путем лишь изредка для сношений с Данией. Из Белого моря они плыли вдоль Мурманского берега до Норвежского Дронтгейма (Тронтьема), или даже до Бергена, а оттуда направлялись сушею до Копенгагена. Но эта дорога была сложна и неудобна; ею можно было пользоваться лишь в исключительных случаях и притом не для торговли, не для возки товаров. С появлением же англичан Беломорский путь, морем до Английских гаваней, обращался в наиболее удобный, совершенно независимый от враждебных соседей. Он создавал возможность прямых и правильных сношений с Западом как раз тогда, когда эти сношения насильственно прерывались на всех ранее действовавших путях. Понятна поэтому та радость и радушие, с какими были в Москве встречены английские гости, и та щедрость, с какою Московское правительство оказывало ласку и расточало льготы желанным пришельцам. В течение немногих лет англичане укрепили торговую связь с Москвою. У Николо-Корельского монастыря на острове Ягры в устье Двины они устроили свою пристань и поселок. Остров, где росло много диких красных роз, был назван „Розовым“ (Rose Island). На нем стояли английские дома и амбары с товарами. Здесь происходила разгрузка кораблей; отсюда на мелких судах, „дощаниках“ и „насадах“, товар шел в Холмогоры и на Вологду; сюда же доставлялись русские товары для отправки в Англию. На всем пути между Холмогорами и Москвою, в главнейших городах, англичане получили усадебные места и построили дома и склады. Они особенно оценили Вологду, как лучшее место для склада английских товаров, так как „Вологда отлично

расположена и торгует со всеми городами Московского государства", и они построили там свою факторию, обширную, как замок, по выражению одного современника. В самой Москве у англичан была усадьба в Китай-городе на Варварке у церкви (и ныне существующей) Максима Исповедника. Во время пожара 1570 года (при нашествии крымцев) в строениях этой усадьбы погорело и задохлось около 30 англичан, мужчин, женщин и детей, из состава английской колонии в Москве. Кроме собственно торговых складов и поселений, англичане пытались устраивать и заводы для обработки русского сырья. Уже в 1557 году началась в Холмогорах постройка канатной мастерской с мастерами из Лондона. Немногим позже англичанам было дозволено устроить на р. Вычегде железоделательный завод для обработки обнаруженной там руды. Но все такого рода начинания играли лишь второстепенную роль в планах английских предпринимателей. Главное их внимание было устремлено на другие дела. Во-первых, они желали использовать природные богатства русского севера и, прежде всего, пушной товар; а, во-вторых, они стремились через Московские владения связаться с азиатскими рынками и проникнуть до Китая и Индии. Обе эти цели они преследовали с необыкновенною энергией.

В короткий срок английские разведчики ознакомились с главнейшими путями в Поморьи как на восток, так и на запад от Двины. Они успели проехать от Холмогор до Соловков, оттуда до устья р. Выга, Выгом до волоков к Повенцу, а затем озерами Онежским и Ладожским и р. Волховом дошли до Новгорода. С другой стороны они добрались сухим путем и на судах до р. Печоры, обследовав как морской ход до Печорской губы, так и речные маршруты Пинегой, Мезенью, Пезой, а равно и зимние пути между главнейшими населенными пунктами от Холмогор до Усть-Цыльмы и Пустозерска. Особенно интересовала их Лампожня на Мезени — место, где дважды в год бывала крупнейшая ярмарка русского Севера. Туда с Печоры и даже с Оби (Мангазеи) свозились русскими промышленниками и туземцами все виды пушного товара, оленьи шкуры и моржовая кость. Там эти товары скупались

торговцами с Холмогор и развозились по всему Московскому государству. В этой торговле англичане приняли живое участие и доставляли в Лампожню свои сукна и металлические изделия в обмен на дорогие меха, которые отправлялись в Англию. Одновременно с исследованием края шло обследование берегов и островов Ледовитого океана. Мысль о возможности обойти Азиатский материк с севера продолжала занимать англичан, несмотря на неудачу их первого предприятия 1553 года, и они отправляли на поиски этого пути новые экспедиции. Особенно замечательны были в Северном море изыскания Стефана Борро, который в одно лето (1556 г.) побывал в Кольской губе, затем достиг Канина носа, Югорского шара, о. Вайгача и даже Новой Земли. Но его надежда добраться до устьев Оби не сбылась, и он вернулся на зимовку в устье С.-Двины. Из многих плававших в Ледовитом океане англичан Борро был наиболее научным и точным исследователем; благодаря ему, главным образом, был в Англии добыт материал для хорошей карты северных берегов России. В конце XVI века англичане, можно сказать, совсем освоились с русским Севером и целыми годами жили, торговали и промышляли не только в бойких пунктах, какими были Холмогоры и Лампожня, но и в таких далеких и глухих углах, каковы Усть-Цыльма и Пустозерск на Печоре.

Ко второй своей цели — проникнуть через Московию в Азию — англичане стремились с неменьшей энергией. Их пионером здесь был замечательный путешественник Антон Дженкинсон, оставивший интересные записки о современной ему Москве. До своего появления в России он много ездил по Европе, был в Турции, Палестине, северной Африке. Зиму 1557—1558 г.г. он провел в Москве и добыл у царя разрешение на поездку в азиатские страны. Весною поплыл он Волгою на восток, имея конечною целью Китай. Из Астрахани, на одном корабле с персидскими и татарскими купцами, пошел он в море и высадился на полуострове Мангышлаке, откуда с большими приключениями добрался до Бухары. В Бухаре Дженкинсон зимовал и весною 1559 года замышлял ехать в Китай. Но постоянные войны и разбои кочевников

закрыли ему на этот раз все пути, и он принужден был возвратиться в Москву. На первой попытке он, однако, не остановился. В 1561 году он снова явился из Англии в Москву и с царского разрешения отправился в Персию. На этот раз путь его из Астрахани лежал на Дербент и Шемаху. Он побывал в Тавризе, нашел шаха в Казбине, зимовал там и летом 1563 г. благополучно возвратился в Москву. Наблюдательный и образованный, Дженкинсон был одинаково способен на дипломатическую, коммерческую и научную работу. Его географические наблюдения и измерения, этнографические описания, торговые справки, дипломатические переговоры принесли громадную пользу английскому правительству и тем торговым организациям, с которыми он был связан. Историк и географ одинаково пользуются трудами Дженкинсона, как полезнейшим материалом для знакомства с обследованными им странами. Заслужив милость Ивана Грозного, Дженкинсон успел выхлопотать у него широкие привилегии для английской торговли не только в Холмогорах и Москве, но и в Казани и Астрахани, в Нарве и Дерпте; и, что всего замечательнее, он получил для английской торговой компании, к которой принадлежал, право беспошлинного провоза товара в Персию и Среднюю Азию (Бухару и Самарканд). За Дженкинсоном были направлены по азиатским маршрутам и другие агенты английской торговой компании (Т. Алькок, Д. Ренн, Р. Чейни, Р. Джонсон, А. Эдуардс). Московское правительство до времени поощряло все такого рода предприятия англичан: создавало монопольное право их торговой компании на беспошлинный торг по всему Московскому государству, дозволяло ей строить в городах свои фактории с широкой автономией, допускало и отдельных англичан селиться и торговать в стране, поскольку компания этому не противилась; наконец, оно охотно обращалось в Англию за необходимыми ему специалистами, которых оттуда и получало. Но это длилось только до тех пор, пока не явились вслед за англичанами в северные русские „пристанища“ (гавани) корабли других наций. Тогда между английским правительством и московскими властями начался разлад. Англия настаивала на сохранении за нею

права не только на беспошлинную торговлю, но и на исключительное пользование морским путем в Россию, а русские этого права не признавали, потому что просто его не понимали. Англичане говорили, что они „впервые на Русь дорогу нашли морем с великими убытки и томлением“ и потому „иным не пригодитца на Русь ездити, которые ся не убытчили и не промышляли тем первым путем“. В таком московском переводе излагалась английская грамота с притязанием на торговую монополию и с общим указанием на то, что „те, которые дорогу проложат и пристанища находят, в великой чести бывают, и их везде берегут, во всех замлях“. На это московские дипломаты отвечали, что торговые льготы англичан внутри Московского государства ничуть не уменьшены, что от русской торговли англичане не убытки потерпели, а „торгуючи беспошлинно много лет, многие корысти себе получили“, и что не было времени, когда бы англичане одни приходили на Русь из-за границы. В те годы, когда они одни приставали в устьях С. Двины, все прочие иноземцы пользовались Нарвскою гаванью. Только с той поры, как Москва потеряла Нарву (1581 г.), указано было всем вообще иноземцам приходить на С. Двину, и для торга там был поставлен новый Архангельский город (1584 г.). В этих объяснениях была правда. Московские люди исходили из той мысли, что „великая божья дорога океан-море“ всем одинаково доступна и ее „затворить“ или „перенять“ невозможно. Они знали, что в одно время с торгом англичан на Двине, с 60-х годов XVI века, начался торг голландцев в Печенге и Коле на Мурмане; и они понимали, что в данных условиях сохранение английской монополии на севере невыгодно для государства и просто неисполнимо: не гонять же было от гаваней приходившие туда для торга не английские корабли. Таким образом, англичанам приходилось помириться с тем, что по северному пути в Московское государство открылся доступ и другим нациям. Для англичан всего горше и вреднее оказалось на Руси соперничество голландцев, которые в ту эпоху шли быстрым шагом к решительному преобладанию на поприще мировой торговли.

Известно, что голландцы впервые появились в Ледовитом океане не раньше средины XVI века. Первый голландский корабль, как говорят, пристал к Вардегузу на северном берегу Норвегии в 1564 году. В следующем 1565 г. голландцы побывали уже в Печенгской губе, а затем и в Кольской у селения Колы. В 1566 - 1567 годах два голландца фон-Салинген и Де-Мейер из Колы через Кандалакшу и Онегу без особого разрешения, можно сказать, тайком проникли в Москву, побывали в Новгороде и благополучно вернулись на родину с барышем и с запасом ценных для них наблюдений. С тех пор в Коле начались правильные наезды голландцев, образовался их торг с русскими людьми, и голландцы с такою же энергией, как англичане, принялись изучать северное побережье Московского государства. Из их среды вышли исследователи, не уступавшие Дженкинсону и Борро. Названный выше Салинген более тридцати лет провел в изучении русского севера, научился говорить по-русски, завел знакомство со многими поморами, служил переводчиком для датского правительства в его сношениях с Москвою, составлял доклады и записки о русских делах для голландцев и датчан, приезжал послом от датского короля в Москву, наконец, составил географическую карту Скандинавии, Лапландии и Финляндии. Для голландцев и датчан он был полезнейшим осведомителем по русским делам. Еще замечательнее была деятельность брюссельца Оливера Брюнеля. На одном из первых голландских кораблей он молодым человеком прибыл в Колу и оттуда был послан в Холмогоры учиться русскому языку. По какому-то доносу он был взят; его отправили вглубь страны и бросили в Ярославскую тюрьму. По обычаю того времени, иноземный „полон“, взятый на войне, из тюрем давали на поруки на работу в частные хозяйства. В состав „полоняников“, повидимому, попал и Брюнель: его „выручили“ из тюрьмы и взяли к себе на службу знаменитые Строгановы. У них он стал торговым агентом и не один раз возил их товар, меха, на продажу заграницу, в Антверпен и Париж. Это было в 70-х годах XVI века. Позднее Строгановы направили его на восток. Он дважды ездил в Сибирь, к устьям р. Оби, спускаясь

в море по Печоре, и, таким образом, хорошо освоился с условиями плавания вдоль Сибирских берегов. В 1581 г. Брюнель устраивал чрезвычайно любопытную экспедицию. От имени Строгановых ездил он в Голландию приглашать опытных моряков на построенные Строгановыми два морских корабля. С ними Брюнель должен был, обогнув Сибирь, проникнуть в Китай. Начатое в 1584 году плавание, однако, не удалось из-за льдов, и вскоре после этого Брюнель покинул Строгановых и поступил на датскую службу. Своими точными и богатыми наблюдениями он много послужил своим сородичам в их сношениях с Россией. Между прочим, ему приписывают почин того, что голландцы нашли дорогу в устья С. Двины. В 1577 или 1578 году именно под его руководством Ян фан-де-Валле привел первый голландский корабль к Никольскому монастырю. За ним уже легко нашли туда же путь и другие голландские корабли. Однако, голландцы не стали соседями англичан у св. Николая. Они прошли Пудожемским устьем Двины верст на 15 далее и там устроили свою первую пристань, а позднее (1582 г.) продвинулись по реке еще выше до Архангельского монастыря, где Московское правительство начало тогда же строить „город“ (то есть, крепость), а под стенами города „гостиные дворы“ для товаров. С постройкою этого нового города „Архангельского“, имевшего значение организованной пристани, последовал царский указ (1585 г.) о том, чтобы впредь иноземцы приходили со своими кораблями исключительно к Архангельску и чтобы они перенесли туда свои склады и дома — английские с Розового острова, а голландские с Пудожемского устья. С тех пор Архангельск стал главным, даже единственным московским портом на севере, ибо одновременно с его постройкой правительство закрыло Мурманские гавани (Колу и Печенгу) для иностранцев, допустив там торг только трескою, палтусом и китовым жиром.

С образованием Архангельского города условия Московского торга для всех наций стали одинаковы. Правда, английская компания сохранила свою прежнюю привилегию беспошлинной торговли внутри Московского государства, чего не

имели ее конкуренты. Но привоз товаров к пристаням, распространение их по городам, постройка факторий в крупнейших центрах страны, свобода передвижения торговых агентов, — все это было одинаково как для англичан, так и для голландцев. И те и другие могли проявить с полной свободой свою деловую ловкость, и надобно сказать, что голландцы очень скоро показали себя опасными соперниками. Уже первый голландский торговец, проникший в Архангельск, Ян фан-де-Валле (получивший в Москве имя Ивана Деваля Белобородa) привлек особое благоволение Ивана Грозного тем, что привез ему „узорочные“, особенно ценные товары, „а аглинские гости николи таких товаров не приваживали“. Чем далее шло время, тем действительнее становилась конкурренция голландцев и тем прочнее они оседали в самой Москве и других городах, пока, наконец, не получили явного перевеса над англичанами. Весь XVII век есть время непрерывных успехов голландцев в Московском государстве.

IV

Таким образом, совершилась эмансипация Москвы от ее западных соседей в деле сношений с Западной Европой. Легко доступные, ни от кого не зависимые англичане и голландцы сменили собою итальянцев и „немцев цесарские земли“ (то-есть, германцев), которых не хотели пускать на Русь правительства Ливонии, Речи Посполитой и Ганзейских городов. Но это не значило, что Москва вовсе осталась без притока людей через ее западную границу. Напротив, этот приток усилился во второй половине XVI века, благодаря Ливонской войне Грозного. В начале 1558 года произошел окончательный разрыв Москвы с Ливонией. Московские войска вторглись в Эстляндию и Лифляндию, разорили страну и повели из нее на Русь многолюдный „полон“, который и обращали в рабство. Та часть пленных, какая попадала в распоряжение частных лиц, или продавалась ими на-сторону, или же крепилась за самими захватчиками в их „дворах“ в „кабальные холопи“. В громадном большинстве это было инородческое

(финское или латышское) простонародье, представлявшее собою грубую рабочую силу. „Полон" более высокого качества— люди, принадлежавшие к высшим классам Ливонии, или же, выражаясь современным нам языком, квалифицированные,— делались обычно пленниками государственными, „полоняниками в государеве имени". Их правительство брало в свое распоряжение, на свою „службу", и рассылало по всей стране, образуя из них, например, гарнизоны городов в восточных областях государства. Любопытные данные об участи таких пленных обращались в ту эпоху в Германии. В одной из деловых записок по Балтийскому вопросу, составленной для императора, определенно указывалось на то, что московский царь с пленными немцами обращается милостиво, именно 9000 ливонских полоняников вовсе не проданы в рабство, как о том шел слух, а расселены по разным городам. О таком способе размещения пленных есть кое-какие сведения и в русских документах. К тому же самому времени, к какому относится немецкая записка (к 60-м годам XVI века), приурочены и русские данные о маленьком укрепленном городке Лаишеве на Каме. Городок этот был поставлен на переправах через нижнее течение Камы и командовал над ними, защищая Казань от вторжений инородцев с востока. В его гарнизоне было помещено 150 „полоняников посадских жильцов", наделенных „полоняничными роспашми", пашнею „доброй земли" в значительном количестве. Такие полоняники, „немцы" и „литва", в Поволжских городах остались сидеть и после окончания Ливонской войны; очевидно, обжившись на „доброй земле", они уже не стремились на старую оседлость. По крайней мере, лет через сорок после их водворения на Волге „литва и немцы" продолжают состоять в гарнизонах того края. Такую участь — рядовой военной службы — терпели простые солдаты, взятые Москвою на бою. Более знатные полоняники устраивались лучше: они получали в самой Москве соответственное их знаниям и способностям положение. Кажется, самый яркий пример того, какую карьеру могли сделать полоняники, представляют собою лифляндские дворяне Иоганн Таубе и Элерт Крузе. Они принадлежали к ливонской знати,

принимали участие в борьбе с Москвою и попали в плен к Ивану Грозному. Обещанием служить ему и содействовать подчинению Ливонии они заслужили доверие Грозного и попали к царю в милость. Он сделал их своими дипломатическими агентами и при их посредстве вел переговоры с Ливонскими властями и Датским правительством. На них возлагались и военные поручения. После неудачи организованного ими нападения на Дерпт они, боясь опалы, решили изменить Грозному и перебежали в Литву к гетману Хоткевичу, которому и посвятили свой известный мемуар или „послание“ о „неслыханной тираннии“ Грозного. Не менее шести лет служили эти полоняники Москве раньше, чем ее бросили, и это были годы (1566 — 1572) самого напряженного террора опричнины, которая, однако, не сделала им ни малейшего зла. Сохранились сведения, что Крузе пользовался особенными милостями царя: ему возвратили его семью, дали каменный дом и землю, назначили денежное жалованье и довольствовали натурою от царского двора, а самое главное — обещали поручать ему только „честные дела“ (die ehrbare Sachen). Также и Таубе получил от царя большое поместье на Рязани, земли в Дерптской епископии, значительное денежное жалованье и иные подачки. Такое преуспеяние этих „епископских советников“ из Дерпта было известно в Германии. Там знали, что еще большим благоволением, чем Таубе и Крузе, в Москве пользовались Адриан Кальб и Каспар фон Эберфельд из того же Дерпта. Об Эберфельде шел даже такой слух, что по особому доверию к нему царя он постоянно призывался в боярскую думу и не раз отваживался беседовать с царем о преимуществах протестантского вероучения. Называли также в числе пленников, принятых в Москве с лаской и почетом, дерптского пастора Веттермана, которому царь поручил ознакомиться с греческими, латинскими и вообще иноязычными книгами царской библиотеки. Можно назвать еще много других имен ливонцев, живших на службе и иждивении Московского правительства и не терпевших в своем плену ни гонений, ни особой нужды. Их и не могло быть мало, потому что Грозный в завоеванной им стране применял иногда так

называемый „вывод“, то-есть массовое переселение жителей покоренного города внутрь Московского государства. Так он поступил в 1565 году с Дерптом: велел оттуда вывести „бурмистров и посадников и ратманов всех немец за их измены в Володимир, на Кострому, в Нижний Новгород, на Углич“. Царь объяснял эту меру тем, что немцы из Дерпта „ссылалися с маистром Ливонским, а велели ему притти под город со многими людьми“. Таким образом в первые же годы ливонской войны Москва и другие русские города увидали у себя ливонский „полон“ в весьма достаточном количестве.

Но „полон“ не был единственным источником, из которого тогда поступал на Русскую Землю с ее западного рубежа иноземный элемент. В первые же месяцы Ливонской войны, в мае 1558 года, московские войска взяли Нарву и таким образом Москва получила в свое обладание одну из лучших гаваней на восточных берегах Балтийского побережья. Значение ее Московское правительство понимало очень хорошо; по выражению исследователя Балтийского вопроса Г. В. Форстена, Нарва была любимым детищем Грозного. Русские быстро восстановили город, пострадавший от пожара и штурма. навели мост через Нарову и таким образом соединили Нарву с Ивангородом. Окрестным жителям русские воеводы помогли оправиться от разорения, выдав им зерно, лошадей и скот. Жители самой Нарвы получили свободу „жити по своим местом“; попавшие при штурме в плен были отпущены из плена; весь вообще нарвский „полон“ велено было сыскать, „которой был еще не распродан по иным землям“, и вернуть в город. Городу было даровано право свободной и беспошлинной торговли с Московским государством и дана возможность торговать и сноситься с другими странами. В Нарвскую гавань всячески привлекались иноземцы, им обещали личную безопасность и всякие льготы для торга. К Нарве должна была перейти прежняя роль Новгорода, бывшего главным пунктом товарообмена между Русью и иноземными рынками Балтийского бассейна в Германии.

Появление русских в Нарве и открытие ими Нарвской гавани для свободного торга произвело сильное впечатление

в заинтересованных кругах Германии и Скандинавских государств. До этого момента вся ганзейско-русская торговля была в руках ливонских городов и более всего Ревеля, который всячески противодействовал развитию торговли Выборга и Нарвы с московскими купцами. Ревель и теперь вооруженною рукою начал бороться с „Нарвским плаванием“, задерживая силою корабли, шедшие в Нарву, и искал себе поддержки и союзников в соседних государствах. Отсюда его тяготение к Швеции, отдавшее в конце концов всю Эстляндию шведам. Наоборот, чрезвычайную радость открытие Нарвской гавани вызвало в Любеке и вообще в западных ганзейских городах. Оттуда в Нарву охотно посылались корабли, которые миновали теперь Ревель и шли прямо по назначению, избегая остановок и перегрузки в Ревеле и избавляясь от связанных с этим лишних расходов. Равным образом и датские корабли направлялись в Нарву независимо от тех колебаний, какие происходили в политических отношениях Дании и Москвы. Узнали о возможности свободного торга в новой Московской гавани и голландцы, а равно и английские купцы из тех, кто не входит в состав английской компании, обладавшей торговой монополией в устьях С. Двины. Даже шведский король Эрик, поддерживая Ревель в его борьбе против Нарвы, смотрел сквозь пальцы на то, что его шведские и финляндские подданные ездили в Нарву и выгодно вывозили оттуда необходимые шведам товары. Словом, „Нарвское плавание“ получило сразу очень важное значение, ибо оно открыло Европе новый путь для получения русского сырья, бывшего, по современному выражению, неисчерпаемым источником благ. Нарва стала оживленным портом, и на путях к ней закипала ожесточенная борьба. Как противники, так и защитники „Нарвского плавания“ действовали насилием, держали в море каперские суда и грабили своих противников и конкурентов. Москва в этом отношении не отставала от других: и она имела на Балтийском море своих каперов для защиты шедших в Нарву торговых судов. Распоряжался ими „корабленик“ немчин Керстен Род (Carsten Rode): он захватывал всех тех, кого считал врагами царскими и своими, и действовал столь же разбойни-

чески, как и прочие каперы, почему и попал в конце концов в Датскую тюрьму. Несмотря, однако, на все опасности плавания и риск понести убытки по дороге на новый русский рынок, Нарва привлекала к себе много торговцев и стала, как и Двинское устье, оживленным местом товарообмена между средней Европой и Русью до тех пор, пока Москва ею владела, то-есть до 1581 года.

V.

Итак, с 50-х годов XVI века в Московском государстве произошел массовый наплыв западноевропейцев. Англичане в Поморьи, в Вологде, в Ярославле, в самой Москве; они же на путях в Среднюю Азию; они же в Нарве и Новгороде; голландцы в Мурманских гаванях, на С. Двине и вслед за англичанами по всему пути от Холмогор до Москвы; они же в Нарве и Новгороде; „немцы“ из Ливонии — полоняники, рассеянные по всему государству, жившие целыми общинами со своими пасторами и молитвенными домами; немцы-купцы из Германии и Ливонии, проникавшие через Нарву и другими путями на русские рынки, открытые для них, несмотря на войну, — весь этот люд был необычною новинкою для Москвы и ее внутренних областей. Он не мог остаться без влияния на русских людей и прежде всего на придворные и торговые круги. Сам Грозный, с его острым умом и нервною впечатлительностью, подпал под обаяние любопытных пришельцев. В записках бывших в Москве при Грозном англичан встречаются ценные на то указания. Царь не ограничивался милостивым благоволением в условиях этикета: он легко вступал и в приватное общение с английскими дипломатами и торговыми агентами. Так, встретив в Кремле на водосвятьи (6 января 1558 года) англичанина Дженкинсона, царь узнал его, несмотря на то, что на Дженкинсоне было русское платье, и вступил с ним в разговор, пригласив его лично к своему обеду. Когда, полтора года спустя, Дженкинсон вернулся в Москву из Бухары, царь за обедом беседовал с ним о странах, откуда тот прибыл. Англичанина Горсея он в частной беседе расспрашивал о военном флоте Англии и затем

приказал дьяку Елизару Вылузгину записать сообщенные Горсеем сведения. Горсей, если только ему верить, утром того дня, когда царь умер, видел его в его домашней обстановке в кругу ближайших его придворных. Грозный при нем рассматривал дорогие каменья в своей казке, не предчувствуя близкой кончины. Из официальной записи конца 1583 года известна беседа Грозного с английским послом Боусом, вышедшая за пределы делового обмена мыслей. Царь похвалился послу теми вещами, какие ему продал голландский купец фан-де-Валле (по-московски „Иван Белобород"): „сняв с руки, государь показал послу перстень" и указал ему на „запону, которая на колпаке, — изумруд большой", да говорил, что „английские гости николи таких товаров не приваживали". Английский посол перстень поцеловал с похвалой и очень высоко оценил запону на колпаке (то-есть застежку на царской шапке). Эта мелочь свидетельствует о степени той непринужденности, с какой царь обращался с иноземцами, и того расположения, какое он к ним питал. Любопытно, что, когда Грозный скончался, то его дьяк А. Щелкалов приказал о том известить Боуса словами: „ваш английский царь умер"; он не стеснялся этой насмешкой осудить излишнюю, по его мнению, склонность царя к англичанам. Не один Щелкалов был недоволен отношением Грозного к иноземцам. Когда в милость к царю вошел прибывший из Англии медик и астролог Елисей Бомелий, это вызвало общий соблазн (1570). Бомелий оказался большим интриганом и ловким пройдохою. Он, как говорится, обошел Грозного, втерся в его доверие, гадал ему, как „звездочет", и служил ему ядами для отравления опальных людей. Его считали опаснейшим клеветником и вредным советником у царя. Ему приписывали гибель многих бояр; думали, что он навел Грозного на мысль жениться на английской королеве Елисавете. Его влияние на Грозного считали необычайным и радовались, когда он сам был обвинен в „измене" и мучительски казнен (1580). Известность Бомелия была настолько широка, и слава о его могуществе так шумела, что даже глухая провинциальная летопись того времени повествовала о нем в эпически-сказочном тоне. По

летописи, враги Москвы, немцы и литва, хитростью подослали к Грозному Бомелия — „немчина, лютого волхва, нарицаемого Елисея, и бысть ему любим в приближении, и положи на царя страхование и (царь стал) выбеглец от неверных нахождения. и конечно был отвел царя от веры: на русских людей царю возложи свирепство, а к немцам на любовь преложи". Враги Грозного „узнали своими гадании, что было им до конца разореным быти, того ради такового злого еретика и прислаша к нему". И они расчитали верно: еретик-Бомелий „много множества роду боярского и княжеска взусти (возбудил) убити цареви, последи же и самого приведе на конец, еже бежати в Аглинскую землю и тамо женитися, а свои было бояре оставшие побити". Злодейское влияние Бомелия было, по летописи, пресечено боярами, которые, наконец, самого его „смерти предаша". Такие представления о московских событиях ходили в далеких от Москвы областях. Московский же дьяк, писатель той эпохи, Иван Тимофеев, судил о деле более здраво, хотя и более осторожно. Он коротко говорит, что Грозный своих вельмож избил или изгнал в иноверные земли, а в их место „возлюбил" иностранцев: одних „богатил" щедрыми подачками, а кое-кого сделал и своими поверенными советниками. Были и такие, кто был приближен царем по его „врачевной хитрости" (намек на Бомелия); но они, вместо здоровья, приносили ему душевный вред и „ненавидение ему на люди его". Тимофеев удивляется, что царь, „толикий в мудрости", был побежден не врагами, а только „слабостью своея совести", и сам вложил свою голову „в уста аспида". „Увы!— восклицает он, — вся внутренняя его в руку варвар быша"; они делали с ним все, что хотели! Таково было представление о Грозном у людей, видевших своими глазами московскую жизнь и дворцовую обстановку его времени. Очевидно, что значение иностранцев в Москве за время Грозного выросло настолько, что стало вопросом дня для москвичей и давало им повод обвинять царя в отпадении от старого обычая в сторону новоявленной иноземщины.

Сами иностранцы с особым ударением отмечали ту свободу, с какою Грозный выходил из рамок этикета и официальности

в общении с ними. Если даже не верить Горсею, который мог из хвастовства преувеличить свою близость к царю, то нельзя не дать веры, например, английскому послу Томасу Рандольфу в его любопытнейшем сообщении о ночном свидании с Грозным (в феврале 1569 г.). Царь пожелал говорить с ним секретно и вызвал его, несколько дней спустя после открытой аудиенции, поздним вечером через ближнего доверенного боярина. „Место свидания было далеко (говорит Рандольф), ночь холодная, и я, переменив свое платье на русское, испытывал от этого большое неудобство; я говорил с царем около трех часов, к утру был отпущен и возвратился домой". В этом необычном свидании обсуждались и решались вопросы политические и коммерческие вне всяких привычных официальных форм; формы же были соблюдены позднее, через несколько недель после ночного свидания. Отмечали иностранцы и ту свободу, с какою Грозный обращался в разговорах с ними к религиозным темам. В Любеке, центре германской торговли с Нарвою и Москвою, в 60-х годах XVI века, рассказывали, что Грозный любит с ливонскими пленными касаться церковных вопросов, рассуждает о различиях православия и католичества и будто бы серьезно думает о соединении церквей. Указывали на то, что дерптский пленник Эберфельд свободно раскрывал перед царем преимущества протестантского вероисповедания, что пастор из Дерпта же Иоганн Веттерман был допущен в собственную библиотеку Грозного для ознакомления с ее теологическими сокровищами, что Грозный с полной терпимостью дозволял отправление протестантского богослужения и разрешил постройку кирки для плённых немцев. Такого рода сообщения оправдываются документами, не вызывающими сомнения. Известен эпизод с богословом Яном Рокитою, принадлежавшим к секте „моравских братьев". В числе прочих членов этой секты он ушел из Чехии в Польшу, а оттуда в свите литовского посольства к Грозному в 1570 году попал в Москву. Представленный Грозному, он удостоился долгой с ним беседы „о вере" и, конечно, не сошелся с православным царем в своем исповедании. Оба собеседника потом положили свой спор на бумагу: Рокита изложил прение с царем по-польски, и его

труд был опубликован в латинском переводе в 1582 году; царские же речи до XIX века оставались в рукописном виде и обращались в руках московских и западно-европейских книжников. Трудно сказать, сам ли Грозный записал их или же это было сделано кем-либо другим по его приказанию. Но самый факт прения царя с пастором остается вне сомнения, как и данная Роките возможность свободного изъяснения пред царем своего сектантского учения. Впрочем, Грозный не всегда выдерживал эту манеру религиозной терпимости. Существует рассказ и о том, как пострадал в разговоре с царем пастор, не в добрую минуту сравнивший Лютера с апостолом Павлом: царь, будто бы, ударил его палкой по голове и сказал ему: „ступай к чорту со своим Лютером". Можно думать, что проявления терпимости и доброго внимания к иноверцам диктовались Грозному не столько его внутренним интересом к церковным различиям, сколько соображениями практического характера. Нельзя, конечно, допускать мысли о том, чтобы царь хотя бы на один миг поколебался в своем московском православии. В отношении протестантских учений, для царя новых, возникших только в его эпоху, направленных против католичества (как и само православие было направлено против католичества), — Грозным могло руководить любопытство и живое желание узнать новое религиозное движение. Что же касается до „римской веры", то прение о ней могло быть царем допущено только в силу обстоятельств. Именно так и было с знаменитым папским послом Антонием Поссевином. Он был направлен в Москву в целях мирного посредничества между Грозным и Баторием с указанием всячески стараться о соединении церквей и подчинении Москвы видам папского престола. С самой первой минуты появления Поссевина на московской почве вопрос „о вере" стал предметом опасений для Грозного. Приставу, посланному встретить Поссевина на границе (в июле 1581 года), было уже указано уклоняться от разговора на исповедные темы: „а будет (Поссевин) учнет задирать и говорить о вере о греческой или о римской, и (приставу) Залешенину отказати: грамоте не учивался; да не говорить ничего про веру". По приезде же Поссевина в Москву и сам царь всячески откла-

дывал обсуждение церковных вопросов, выдвигая на первый план политические дела, ради которых явился Поссевин. Он отсылал Поссевина к Баторию за миром и обещал, что, когда мир будет достигнут, „тогда мы тебе дадим знать о вере". Но и тогда, когда было достигнуто перемирие, и Поссевин снова явился в Москву (в феврале 1582 года), Грозный не склонен был вступать с ним в богословскую беседу. Поссевин же своей основной задачей полагал выяснение возможности церковной унии Москвы с Римом и потому настаивал на том, чтобы царь хотя бы раз выслушал его речи об унии („штоб хоти одновчи послухал Антонья наодинове", как было сказано „в тетрадях", поданных Поссевином боярам). Грозный отказался слушать иезуита „наодинове", без свидетелей, но не счел удобным вовсе лишить его желаемого им разговора. Разговор произошел при немногих свидетелях и был официально записан московскими дьяками. По этой записи совершенно точно выясняется поведение царя. Он отказывался говорить о вере по двум основаниям: во-первых, он не имеет на то „благословенья и рукоположенья" православного духовенства, а, во-вторых, боится нарушить политическое согласие богословской ссорой. Но „посол Антоний упрямился" и „говорил государю с докукою, что брани некоторые в том не будет, а захотел с государем говорити о вере". Уступая упрямству Поссевина, Грозный не прекратил беседы, но свел ее к пустякам, прямо объяснив, что „мы больших дел говорити с тобою о вере не хотим, чтобы тебе не в досаду было". Умышленно начал он с малого вопроса, почему Поссевин стрижет свою бороду, хотя это и „не велено": „ты в римской вере поп, а бороду сечешь, и ты нам скажи, от кого ты то взял и от которого ученья?". Когда Поссевин пресек этот насмешливый сюжет заявлением, что „он бороды не сечет, не бреет", Грозный перешел к другому сюжету, столь же малому, о том, что папе кланяются земно, а „на сапоге у папы крыж (крест), а на крыже распятие". По мнению Грозного, „нельзя целовать папу в ногу", также нельзя „крест ниже пояса носити", „ниже пояса всякой святыни быть непригоже", а у папы „от гордыни такой (неприличный) чин установлен"

Поссевин объяснил, почему папе воздается такой почет, и в знак того, что земно почитать надлежит не одного папу, сам „в ноги ко государю Антоней поклонился". Но Грозного это не тронуло: он нашел, что вообще „в ноги людям падать непригоже", и что папа должен не гордиться, а „показывать смиренья образ"; а „который папа не по Христову ученью и не по апостольскому преданью почнет жити и тот папа волк есть, а не пастырь". На этом Поссевин убедился, что прока от беседы не будет, „и престал говорити: коли де уж папа волк, и мне что уж и говорити!". И Грозный тогда заметил: „яз тебе даве ж говорил: коли нам говорити о вере, и нам без раздорных слов не будет". Он милостиво отпустил иезуита, погладив его рукою и дав ему ее поцеловать [1]). Нельзя отказать царю в полемической ловкости: умышленно держась на „малых делах" и не допустив „больших дел говорити о вере", он в сущности вовсе уклонился от обмена мыслей об унии и оставил иезуита, а за ним и папу Григория XIII безо всякого удовлетворения. Менее всего можно видеть в поведении царя наивность и простодушие; можно поспорить лишь о том, что в нем преобладало: расчетливое лукавство или свойственная Грозному склонность к шутке и издевательству. Поссевин, повидимому, усмотрел последнее: в дальнейших разговорах с Грозным он только слушал царя, но воздерживался от речей, хотя и не скрывал своего недовольства.

VI

Таков был сам царь Московский в его отношении к иностранцам. Из всего сообщенного выше ясно, что он не чуждался их и привык к ним, находился в постоянном с ними общении и часто показывал к ним расположение и ласку. Эта ласка, по мнению москвичей, иногда переходила всякую меру;

[1]) У Грозного была манера таким образом выражать свое благоволение и ласку; так, например, он приласкал в 1570 г. герцога Магнуса при конце аудиенции: похлопал его по плечу и стал уверять в своей любви к немцам. Официально это выражалось словами: „положил руку свою на него и пожаловал его".

они удивлялись и негодовали по поводу той близости, какую допускал государь в своем знакомстве с „варварами“; вспомнили слова Тимофеева: „вся внутренняя его в руку варвар быша“. К сожалению, у нас почти совсем нет материала для того, чтобы судить, как глубоко и широко шло иноземное влияние в различных слоях московского населения. Конечно, придворная и служилая среда, окружающая Грозного, вместе с ним привыкала к общению с представителями европейских правительств и торговых организаций. В дипломатических сношениях с ними в самой Москве („в ответех“, как тогда говорилось), равно в поездках к иностранным дворам приобретались новые знания и навыки и формировались такие типы, каким был, например, Федор Писемский, профессиональный дипломат времени Грозного. Он происходил из галичских дворян, попал в 1550 году в дворяне Московские, участвовал в покорении Астрахани, не раз бывал в посольствах в Крым и в Польшу, участвовал в переговорах с Поссевином, был на съезде с шведскими послами (1590), наконец, правил посольство от Грозного к королеве Елисавете Английской (в 1582 году). Ему случилось еще в молодых годах попасть в плен к ливонцам, и он поразил их своими знаниями и умом. Он, по их отзыву, владел латинским, греческим, польским и русским языками и отчасти разумел по-французски и по-немецки, и был очень умен и понятлив. Так как нет никаких оснований думать, что Писемский провел свою молодость заграницей, то остается предполагать, что его знания приобретены были в Москве, и при том в раннюю пору — в 50-х годах XVI века (в плен он попал в 1559 году). Повидимому, Писемского смолоду готовили к дипломатической службе, в которой он и получил свою историческую известность. Иначе приобретали образование другие его современники. У Курбского есть любопытнейший, хотя, к сожалению, немного сбивчивый рассказ о двух казненных Грозным лицах из рода Лыковых. Вкратце Курбский так восстанавливает пред читателем биографии Лыковых. Один из них, Михаил Матвеевич Лыков, в детстве попал в плен к „королю старому Сигизмунду“. Его отец Матвей Лыков погиб при взятии Сигизмундом-Августом Радо-

гоща в 1534 году, семья же его уцелела и в Польше у короля содержалась очень хорошо. Король повелел „их не токмо питати во своих царских палатах, но и доктором (ученым) своим повелел их научити шляхетских наук и языку римскому". В 1542 году московские послы в Кракове „упросиша их у короля во отечество", и два брата Лыковы, Иван и Михаил, вернулись в Московское государство, где и служили отечеству „неблагодарному и недостойному ученых мужей", по выражению Курбского. Курбский упомянул о Лыковых в своей „Истории о великом князе Московском" потому, что, по его сведениям, Михаил Лыков был казнен Грозным. С ним вместе был убит и его „ближний сродник", имени которого Курбский не приводит, но который для нас даже более интересен, чем другие Лыковы. По описанию Курбского, это был „юноша зело прекрасный"; он „послан был на науку за море, во Ермянию, и тамо навык добре алеманскому языку и писанию: бо там пребывал, учась, не мало лет и объездил всю землю Немецкую, и возвратился был к нам в отечество". Это сообщение Курбского устанавливает любопытнейший факт посылки за границу для науки московского „юноши" в середине XVI века [1]).

Можно ограничиться приведенными примерами для того, чтобы устостоверить в данную эпоху факт некоторого сближения высших слоев московского населения с иностранною, западно-европейскою культурою. Но можно говорить еще и о том, что при Грозном низы московского населения также стали привыкать к общению с „фрягами" и „немцами". Весь рабочий люд, живший и трудившийся тогда на путях торгового оборота Москвы с заграницей, вступил в деловые связи с иностранными купцами, служил им на пристанях и судах, на сухопутных дорогах и в гостиных дворах, словом, всюду, где двигался и хранился заморский товар. Население тех городов,

[1]) В брошюре проф. В. И. Саввы „Несколько случаев изучения иностранных языков русскими людьми во второй половине XVI века" (Харьков. 1913) указываются посылки и поездки москвичей за границу для изучения языка. Большинство посылок — на Восток для греческого языка; поездки же на Запад, повидимому, были тогда еще очень редки.

куда внедрялись на житье или на службу пленные „немцы“, привыкало видеть их на улицах и рынках, даже в собственных домах на временном постое. В самой Москве всего больше было на житье таких иноземцев, невольных колонистов, брошенных судьбою в распоряжение московской власти. Они были поселены где-то „на Болвановке близь Москвы“ (по определению Горсея), вернее всего, в Замоскворечьи, а затем в особой „слободе“ на берегу речки Яузы, где с 1575—1576 г. у них была своя протестантская церковь. Один из современников, поляк Немоевский, говорит про эту слободу, что в ней было построено около полутораста халуп (хат), по московскому обычаю с черными избами, над рекою Яузою; на реке же под заборами стояли городские мельницы. Кроме особо отведенных им мест, иноземцы, повидимому, имели возможность селиться и двигаться в самой Москве, в различных ее кварталах, если только не подлежали, по службе или по иным причинам, прикреплению к какой-либо „слободе“ или „двору“. Любопытные бытовые черты записаны в дневнике датского посла Акселя Гюльденстиерне, бывшего в Москве с герцогом Гансом в 1602 году. Он пишет, между прочим, что в первое время по приезде герцога в Москву его со свитою поместили на большом подворьи у самого Кремля, а затем отвели датчанам еще несколько дворов по соседству, образовав из них одну усадьбу. Сначала неохотно разрешали людям герцога ходить по городу; но затем датчане „не стали ни у кого спрашиваться и шли, куда хотели, гулять или делать покупки“. Им в этом не мешали, но запрещали русским и жившим в Москве немцам разговаривать с датчанами без казенного толмача, даже арестовали некоторых немцев за то, что они нарушили запрещение. Но это не помогло: „наши люди и местные немцы все же украдкою сходились поговорить между собою“ (говорит посол). Тогда русские „позволили нашим дворянам и прислуге ходить и ездить верхом по городу, куда им угодно, с тем, однако, чтобы они брали с собою пристава; это и соблюдалось два-три дня, а после того всякий выезжал и уходил, куда хотел без пристава“. Как известно, принц Ганс умер в Москве и был погребен у протестантской кирки в не-

мецкой слободе на Яузе. При подробном описании похорон посол упоминает, между прочим, о том, что при следовании торжественной похоронной процессии от датского подворья в слободу „немецкие дворяне, воины и купцы, как московские, так и из немецкой слободы, присоединились к процессии частью в городе, частью за городом и провожали тело до места погребения; множество немецких дам, девиц и горожанок тоже встретили погребальное шествие частью вне церкви, частью в церкви".

Все эти подробности живо рисуют нам жизнь при Борисе Годунове немецкой колонии в Москве, многолюдной и мало стесненной. Можно думать, что такова же была эта жизнь и при Грозном. Раз только, в последние годы своей жизни, Грозный „опалился" на немцев, живших в немецкой слободе, и учинил в ней жестокий погром, после чего, однако, слобода оправилась и зажила прежнею жизнью. Посторонний наблюдатель этой своеобразной протестантской общины, католик Маржерет рисует быт этой слободы любопытными чертами. Он говорит о ливонцах, поселенных в слободе, что, „потеряв отечество и имущество, сделавшись рабами народа грубого и жестокого, под правлением государя самовластного, они, вместо смирения по причине таких бедствий, вели себя столь гордо, поступали столь высокомерно, одевались столь роскошно, что казались принцами и принцессами; женщины, посещая церковь, наряжались не иначе, как в бархат, атлас, камку; самая последняя носила тафтяное платье, хотя ничего более не имела". Источником благосостояния слободы была, по Маржерету, торговля, в особенности торговля вином, корчемство. Такие подробности свидетельствуют как будто о чрезвычайно благоприятной материальной обстановке: иноземец в Москве в XVI веке мог жить, что называется, припеваючи, не терпя особых стеснений ни от правительства, ни от окружающей среды, доступной его общению и эксплоатации. Только грубая уличная толпа иногда оскорбляла насмешками и бранью непривычных для нее иноземцев, усвоив для них поносительные прозвища и самую их слободу прозвав неофициальным именем „Кокуй".

VII

Областью материальных и практических заимствований и сношений не ограничивалось общение Москвы с культурным Западом. С Запада на Русь в XV—XVI в.в. проникали и те идеи, на которых вырастало миросозерцание эпохи Возрождения. Но там, на Западе, это миросозерцание имело блеск и силу утреннего солнца, ярко светившего пробужденному разуму; здесь же на Руси оно пока мерцало редкими зарницами, не разгонявшими ночного мрака и страшившими косное суеверие массы. Удаленная ото всех культурных центров, задавленная борьбой за самое существование народности, порабощенная татарщиной, „Москва XV века (по словам проф. М. Н. Сперанского) вырабатывает однобокий, отсталый тип средневекового миросозерцания на основах непонятого или дурно понятого византивизма: религиозная, позднее национальная, исключительность, формальное отношение к идеям религии, буквалистика, обрядность, отсутствие образования, заменявшегося лишь начетничеством, — все черты общего средневекового склада ума, но доведенные до односторонности, подчас уродливости“. Это „направление, властно проводимое в жизнь церковью и государством в тесном их союзе“, возбудило против себя реакцию прежде всего там, где русские люди соприкасались с западноевропейцами — на западных рубежах Руси, именно в Новгороде и Пскове. Не говоря о мало известной ранней ереси „стригольников“, позднейшее движение „жидовствующих“ несомненно заключало в себе элементы западноевропейского рационализма. Оно широко охватило круги новгородских книжников, перекинулось в Москву и проникло даже в руководящую правительственную среду. Необходимы были особые усилия иерархии и светской власти для того, чтобы справиться с „ересью“ и подавить ее. Ересь была осуждена; ее исповедники пострадали, но созданное ими настроение критики и скепсиса в отношении догмы и церковного строя не умерло. Оно передалось в другие круги, менее радикальные, не шедшие на ересь и отступничество, но склон-

ные верить лишь тому, что „согласно моему разуму к благоугождению божию и к пользе души“. В этих кругах работа мысли приводила к желанию знать не только свою письменность, но и западную, относящуюся к делу литературу. Поэтому вырос интерес к переводам, которые предпринимались даже официально. На рубеже XV и XVI веков было переведено несколько богословских книг, ученых трактатов („Логика“ и „Космография“) и астрологических сочинений. „Начало обновления идейной жизни Московской Руси было таким образом положено“ (говорит М. Н. Сперанский): „уже к половине XVI века в Москве ясно намечаются результаты этой работы“. Становится явною борьба двух направлений, прогрессивного и консервативного. Сторонники обоих одинаково чувствуют, что „старое отошло“, но разно понимают, чем надлежало бы его заменить. Одни тянутся к Западу, „постепенно увеличивая запас западной литературы в обиходе русской и тем подготовляя окончательное торжество западной культуры на Руси“. Другие стремятся „сдержать порывы вольнодумцев, доказать их ненужность, доказать, что старые основы не отжили, что они живы, только затерты небрежением“. Не заимствование со стороны, но обновление своих старых устоев ставится задачею этого направления, к которому принадлежал сам Грозный и его духовный пестун митрополит Макарий [1]). Но именно на Грозном и видна сила новых культурных веяний в московской жизни. Охранитель ветхих верований и идеалов, он сам настолько подался в сторону „варварской“ новизны, что возбудил, как мы видели, изумление и негодование московских националистов, считавших, что „вся внутренняя его в руку варвар быша“. Младенческое состояние культурно-политической мысли в ту эпоху не могло установить внутреннюю связь между различными сторонами жизни: боясь новшеств в сфере идей и верований, охотно шли на материальное заимствование со стороны.

[1]) Цитаты взяты нами из любопытнейшего очерка М. Н. Сперанского: „Идейные движения в старой Москве“ (в сборнике „Москва в ее прошлом и настоящем“, часть II, вып. 4-й, изд. Т-ва „Образование“).

VIII

Грозный умер в начале 1584 года. С его смертью окончился террор, потрясавший Московское государство, и власть перешла в мягкие и ловкие руки Бориса Годунова. Воспитанник Грозного, Борис не воспринял от него наклонности к тираннии и террору, но усвоил многое из его политической системы и, между прочим, его интерес и любовь к продуктам западной культуры. Все иностранцы в один голос говорят о большой любезности к ним Бориса. Он принимал чрезвычайно милостиво тех иностранцев, которые по нужде или по доброй воле попадали в Москву на службу, для промысла или для торга; он много и часто беседовал с своими медиками иностранцами и с дипломатами европейских государств; он отличался религиозной терпимостью ко всем протестантским толкам. Он, далее, умел ценить науку и ученых: как при Грозном, при Борисе принимались меры к вызову на Русь ученых и техников, и за границей прошла молва даже о том, что Борис желает устроить в Москве университет. Борис, наконец, настойчиво желал породниться с какой-либо европейской династией и дважды начинал сватовство своей дочери Ксении с принцами шведским и датским. К сожалению, оба сватовства были неудачны. Шведский королевич Густав, которого изгнали из Швеции и пригласили в Москву „на удел", оказался человеком неудобным и непристойным; он не склонен был ради Ксении изменить ни своей религии, ни своей морганатической привязанности, которую привез с собою из Данцига; поэтому его пришлось удалить с царских глаз в Углич. Датский королевич, герцог Голштинский Ганс, был много лучше; но, прибыв в Москву, он месяца через полтора расхворался и умер. Состоявший при нем датский посол Аксель Гюльденстиерне свидетельствует о необыкновенной ласке Бориса к посольству и о сильной печали его от утраты герцога: со слезами причитал Борис у гроба: „Ах, герцог Ганс, свет мой и утешение мое! по грехам нашим не могли мы сохранить его"! Царь будто бы от плача едва мог говорить.

При Борисе Московское правительство впервые прибегло к той просветительной мере, которая потом вошла в обычай. Оно отправило заграницу „для науки розных языков и грамоте“ нескольких „русских робят“, молодых дворян. Они должны были учиться „накрепко грамоте и языку“ той страны, в которую их посылали. Документально известно о посылке в Любек пяти человек и в Англию — четырех. По свидетельству же частному, было послано всего 18 человек, по шести в Англию, Францию и Германию. Любопытно, что из посланных с ожидаемыми результатами выучки не вернулся никто. Некоторые умерли; другие оказались „непослушливы и поученья не слушали“, даже от учителей „побежали неведомо за што“; а кое-кто, усвоив „поученье“, остался навсегда за границей. Один из таких Никифор Алферьевич Григорьев стал в Англии священником, „благородным членом епископального духовенства“, и, дожив до старости, во время пуританского движения (1643) даже пострадал за стойкость в его новой вере, лишась прихода в Гентингдоншире. Напрасно московские дипломаты пытались за границей заводить речь о возвращении домой таких отступников: ни сами „робята“. ни власти их нового отечества не соглашались на возвращение их в Москву [1]). В свою очередь, московские власти при Борисе готовы были оказывать гостеприимство иностранцам, приезжавшим в Москву не для прямого практического дела, а с целью, например, изучения языка, и даже из простой любознательности — „для науки и посмотреть в государствах обычаев“. Так, известно, что в 1600 году в Москве изучали русский язык „францовский немчин Жан Паркет, лет в 18, да англичанин Ульян Колер, лет в 15, робята молоди“. В то же время русский посол в Лондоне Гр. Ив. Микулин радушно приглашал в Москву путешественников, „Муравьевские земли князей“ (моравян), трех братьев, „а отечеством словут бароны“; он объяснял им, что царь Борис охотно принимает на

[1]) Любопытные данные об этих „русских робятах“ за границей собраны в труде Н. В. Голицына „Научно-образовательные сношения России с Западом в начале XVII века“ (Чтения в Моск. Общ. Ист. и Древн.“ 1898 г.).

службу иноземцев, и они „живут в его царском в великом жалованье в покое и в тишине и во благоденственном житии". Микулин спрашивал этих „князей баронов", как они хотят ехать в Москву к царю Борису: „на его ли имя служити или, быв у его царского величества, ехати в свою землю"? Очевидно, он вполне допускал возможность посещения Москвы из одной любознательности просвещенными туристами, которые „ездили по разным государствам для науки и посмотрети в государствах обычаев, своею вольностью".

Торговая политика Бориса в отношении иностранцев отличалась большою выдержкою и искусством. Он умел твердо соблюдать интересы государства и в то же время ласкать иноземных купцов, являя им всякие знаки своей милости. Англичане были очень им довольны, так как после смерти Грозного он лучше других сановников обошелся с ними и оказал им много услуг и покровительства. Но ни в его правление, ни в его царствование английская торговая компания не вернула себе тех исключительных льгот, какими наделил ее Грозный в 1569 году до его размолвок с королевой Елисаветой. Борис твердо держался того взгляда, что московские гавани должны быть открыты для всех стран и что правом приезда в устья С. Двины должны равно пользоваться торговые иноземцы всех государств. Когда английская торговая компания пыталась возобновить свое домогательство на исключительное пользование Двинским путем, ей было указано, что московское правительство считает неразумным, ради английских купцов, запрещать многим людям изо многих государств приходить в Архангельск, и что англичанам надлежит довольствоваться той исключительной льготой, что они одни освобождены от пошлин на московских рынках. Таким образом, английская компания оставалась как бы наиболее благоприятствуемой, но это не мешало Борису благоволить и ко всем прочим иноземцам. Такое направление в правящих московских кругах обозначилось даже раньше, чем Борис стал во главе правительства. В июле 1584 года один английский купец, не принадлежавший к привилегированной компании, писал другим таким же, что в Московском государстве после смерти

Грозного „торговати вольно“: приглашают отовсюду приезжать с товаром, „чтоб вопче торговали бы, всякой себе, по своей воле“ (так перевели московские толмачи английскую речь); „не бойся, будет нам всем добро на Москве“. Борис вполне оправдал такие чаяния иноземцев: при нем, действительно, стало „всем добро на Москве“, и иноземцы не уставали хвалить его за его способности и расположение к ним. Иностранная колония в Москве при Борисе чувствовала себя очень хорошо, о чем свидетельствуют записки обжившихся в Москве иностранцев, вроде Исаака Массы (голландца) и Конрада Буссова.

IX

До сих пор мы видели, что Европа была представлена в Москве торговыми предпринимателями, военным и мирным „полоном“ и всякого рода техниками, потребными для московской власти. Таких посетителей, как помянутые выше „Мурравьевские земли князья“, ездившие „своею вольностью“ из любознательности по разным государствам, Москва не знала. Они явились — и при том веселою и шумною толпою — при царе Димитрии Ивановиче, который сам на себя „возложи царское имя“, и которого поэтому зовут Самозванцем.

Самозванец был несомненно москвичем, а не литвином и не поляком. Но созрело его покушение на московский престол в Польше при поддержке польского правительства и некоторой части польского общества. В условиях польской „златой вольности“ он, во-первых, навербовал себе небольшое польско-литовское войско, а во-вторых, завязал деятельные сношения с московской украйной и поднял там движение в свою пользу против московского правительства Годунова. В августе 1604 года начал он кампанию против Бориса. С украйны московской на север двинулись мятежные казачьи дружины. На соединение с ними пошел из Польши мимо Киева и Чернигова сам Самозванец со своим польским отрядом. Соединение предполагалось где-то в Орловских или Тульских местах. Но оно не произошло, потому что войска

Годунова разбили Самозванца и загнали в Путивль, причем почти все его польское войско рассыпалось. Из трех или четырех тысяч осталось у Самозванца всего несколько сот польских „товарищей“. Самозванец дождался в Путивле смерти царя Бориса и свержения его сына Федора. Когда Москва признала царя Димитрия, и Самозванец с торжеством вступил в столицу и сел на „прародительский престол“, все польские „роты“, ему служившие, уместились в Москве в одном „посольском дворе“, то-есть, в одной усадьбе, где помещались обычно прибывавшие в Москву иноземные посольства.

Вступив в Кремлевский дворец, Самозванец привел туда с собою много иноземцев, с которыми он не хотел и не мог порвать завязанных в Польше отношений. Около него, вместе с боярами и московскими дворянами, оказались приближенные поляки, вроде его секретаря Бучинского с братом, необходимых ему для ведения сношений с Польшей. Остались в Москве после роспуска польского войска состоявшие при польских „ротах“ „капланы“ патеры Чиржовский и Лавицкий. Эти два иезуита были командированы своим духовным начальством к самому Самозванцу, чтобы он не отстал от католической церкви, в лоно которой был принят весною 1604 года. Роспуск польских дружин, сопровождавших Самозванца до Москвы, не заставил всех поляков выехать из Москвы на родину. Часть осталась в Москве и продолжала свою службу царю в качестве охранного отряда. Весь этот люд, расселившись по Москве, чувствовал себя господами положения и считал Самозванца в долгу пред „товарищами“ шляхтичами за их труды и помощь. И, повидимому, Самозванец разделял их взгляд и баловал поляков. Он попускал им их бесчинства, оставлял безнаказанными обиды, наносимые ими населению, якшался с ними в воинских потехах и пирушках. Впервые иноземцы явились в Москве не зависимыми, а первенствующими людьми, смотрели на москвичей сверху вниз, считали дорогу в Москву открытой для всякого иноземца. По своему внешнему обличью, по костюму и замашкам сам царь московский являлся для московской толпы иноземцем. Он как бы уничтожал ту вековую преграду, какая была между Русью и Запа-

дом в нравах и вере. Его предшественники, государи XVI века, сближались только с людьми протестантского направления, Самозванец же открыл путь в Москву и католикам, которые для тогдашнего русского сознания были „душепагубными волками". Вероисповедные отличия для Самозванца, вообще, были неважны: он одинаково жаловал и поляков-папистов, и немцев-протестантов. В его дворцовой страже, набранной из иноземцев, были люди разных религий и стран. Кроме поляков, в нее входили и немцы и французы. Один иностранец (Буссов) оставил нам интересное описание этого сборного отряда. Его составляли три сотни, различавшиеся вооружением и одеждой. Первая сотня — стрелки — ходила в бархате и золоте, содержалась богато и почиталась отборною. Капитаном ее был француз Маржерет, типичный авантюрист той эпохи, служивший Генриху IV во Франции, императору в Германии, королю в Польше и царям Борису и Дмитрию в Москве. Владея не только шпагой и мушкетом, но и пером, он оставил любопытную и умную книгу с описанием московских событий и порядков („Estat de l'Empire de Russie et Grande Duché de Moscovie". Paris. 1607). Другие две сотни телохранителей Самозванца находились под начальством немца Кнутсена и шотландца Вандемана, были вооружены алебардами, одеты нарядно и пестро, содержались сыто и, по отзыву современника, немало гордились и подымали нос [1]). Для того, чтобы иметь всегда под рукою эту вооруженную силу, Самозванец поместил ее во дворах вблизи Кремля, выселив для этого арбатских и пречистенских попов.

Надобно представить себе конкретно созданную Самозванцем обстановку, чтобы понять всю резкость перемены в московской жизни. Население Москвы переставало чувствовать

[1]) Однако, поляк Немоевский, увидя эти две сотни в строю во время парадного въезда Марины Мнишек в Москву, отозвался о них пренебрежительно; по его словам, они были в плохих кафтанишках, одни со шпагами и в сапогах, другие с казацкими саблишками и в черевичках: „in summa было видно, что ремесленники (то-есть не рыцари), alias — всякая дрянь (kanalie)". Главный их начальник Кнутсен был из Дании и принадлежал к свите умершего в Москве принца Иоанна (Ганса).

себя хозяевами своего города. Не только в „дворах“ (городских усадьбах), отводимых в Москве обычно для постоя посольств и приезжих иностранцев, но и в обывательских домах, даже церковных, в самом Кремле, кругом дворца и в самом дворце, — всюду москвичи видели поляков, „литву“, „немцев“ в качестве постоянных жителей, служивших царю Димитрию, или же сидевших на его коште и не стеснявшихся показывать Москве свое господство и „ласку господарскую“. По многим отзывам современников, иноземцы во время Самозванца не сдерживались ничем. Один из поляков, бывших в то время в Москве (Стадницкий), говорит откровенно, что „москвичам сильно надоело распутство поляков, которые стали обращаться с ними, как со своими подданными, нападали на них, ссорились с ними, оскорбляли, били, напившись до-пьяна, обижали женщин и девушек“. Шумные пирушки иноземцев, во время которых тосты сопровождались стрельбой, пугали русское население, и московские торговцы пришли к общему соглашению не продавать иноземцам „зелья“ (пороха), когда те искали его в торговых рядах. На этой-то почве и зрело постепенно то настроение Москвы, какое привело ее к жестокому погрому иноземцев, главным образом, поляков и литвы, в мае 1606 г.

Свадьба Самозванца с Мариной вызвала новый наплыв в Москву иноземных пришельцев. На царское „веселье“ ехала вслед за невестой не только ее родня, но и гости, званые и незваные, и всякого рода торговцы — от крупных ювелиров до мелких кондитеров. Одни искали чести и развлечений, другие выгодного „дела“, третьи просто куска хлеба, которого не хватало на родине. Сохранилось несколько любопытных рассказов об этих свадебных неделях, окончательно всколыхнувших Москву. Москвичи увидели в эти дни много любопытного, дотоле им неведомого, что их занимало и удивляло. Но вместе с тем они пережили и такие впечатления, какие окончательно возбудили их против пришлых гостей и собственного царя.

Пан Юрий Мнишек с дочерью Мариной ехали в Москву с целым войском. В их поезде считали 1969 людей и 1960 лошадей, оговариваясь, что это минимальные цифры

и что вернее считать свыше 2000 людей с соответствующим числом коней. Вблизи Москвы пан Юрий опередил Марину, и на несколько дней раньше въехал в Москву. Уже для него одного была устроена пышная встреча, выстроены шпалерами войска и дан большой конвой („около полуторы тысячи москвичей"), в котором inkognito ехал сам царь. По особо устроенному на лодках плавучему мосту через Москву-реку воеводу Мнишка проводили в Кремль. На другой день он был представлен царю в торжественной аудиенции и приветствовал царя витиеватой речью, от которой Самозванец, по словам очевидца Мартына Стадницкого, „плакал, как бобр, вытирая глаза платком", а московский дипломат, думный дьяк Афанасий Власьев, будто бы, сказал, что „пан воевода горазд говорить". Но это торжество было только прелюдией к последующему. Въезд Марины в Москву был гораздо великолепнее. Навстречу ей двинулась вся официальная часть Москвы, весь московский гарнизон и вся польская свита пана Мнишка. Марина ждала начала церемонии на поле в тех знаменитых „снеговидных" шатрах, которые — в виде целого парусинного городка, с массой украшений, — соорудил еще Борис Годунов и которые ставились при всякого рода загородных торжествах. К этим шатрам, говорили, накануне въезда Марины прискакал inkognito Самозванец, чтобы приветствовать панну. У этих шатров в день въезда (2-го мая) Марину опередило польское посольство, присланное королем Сигизмундом на царскую свадьбу. Оно и открыло шествие, причем, к соблазну москвичей, послы ехали „ратным обычаем, урядясь в збруях и с копьи", „не по посольскому обычаю, воинским же обычаем". За посольством двинулась в Москву и Марина. У черты города ей подали парадную карету, богато убранную и такую высокую, что в нее вела лесенка в пять ступеней. Этот „корабль" тянуло 12 серых с яблоками лошадей, из которых одни были такими от природы, а другие подкрашены [1]). Вообще, в процессии

[1]) Другой очевидец насчитал под этой каретой 36 чубарых коней (по-польски масть этих коней выражена словом tarentowatych). Третий очевидец видел только 8 серых с яблоками коней с красными хвостами и гривами.

было много крашеных в необыкновенные цвета лошадей. За каретою Марины следовали богатые экипажи с ее женской свитой. Перед нею же в челе процессии ехали польские отряды „приятелей“ Мнишков, а за ними московские бояре и дворяне. Это была многотысячная нарядная толпа. Шествие замыкали конные отряды польского конвоя Марины, шедшие в панцырях и в полном вооружении, с трубами и флейтами, тем же „воинским обычаем“, как и польское посольство, проследовавшее часом раньше. На всем пути процессии вытянулся московский гарнизон и стояли толпы народа, пораженого невиданным зрелищем ликующего, можно сказать, победного вступления в Москву вооруженных инородцев. Перед Кремлем процессию встретила музыка туземного свойства: трубы, литавры и барабаны „величиною в винную бочку“, в которые „хлопы колотили только одной рукой“. От усердия музыкантов их игра производила впечатление шума водяной мельницы. „Шум и грохот продолжался долго, до нестерпимости“. Процессия вступила в Кремль и остановилась у Вознесенского монастыря, где Марина и была помещена до свадьбы с царем. Остальные же поляки были размещены по всему городу, по всем его кварталам, далеко друг от друга, заполонив, можно сказать, всю Москву.

Все последующие дни до царской свадьбы (8-го мая) прошли в официальных приемах и частных пирах во дворце, в которых ярко выступала интимная близость Самозванца к его приезжим гостям. Вся Москва была взбудоражена шумным движением гостей и их бесцеремонным поведением. Даже в мелочах дворцового обихода сказывалось польское засилье: так, на все эти дни поварня во дворце была отдана, вместе с ключами от кладовых и погребов, польским поварам, потому что Марине не нравились московские яства. Московское население видело только эти внешние проявления иноземного господства; люди же, близкие к правительству, могли наблюдать и другие для них грозные признаки. В дни, предшествующие свадьбе, Самозванец старался разрешить в сущности неразрешимую задачу брака православного царя с „некрещеною“ католичкою. Марина не желала принять москов-

скую веру; напротив, ей внушена была в Польше надежда привести со временем царя и всю Москву в лоно католичества. Самозванцу предстояло поэтому устроить свое венчание без чина присоединения невесты к православию. Он вышел из затруднения тем. что устроил перед церковным венчанием особый чин обручения в „столовой избе“ дворца, а затем в Успенском соборе совершил невиданный прежде на Руси обряд коронования царицы с миропомазанием, что и должно было заменить акт присоединения Марины к православию. За коронованием последовала обедня, а за обеднею свадебный обряд, причем, к огорчению людей сведущих в канонах, новобрачные оба уклонились от причастия, и, таким образом, Марина оказалась невоссоединенной с православною церковью. Для массы дело осталось темным, запутанным сложностью церковных актов; очевидцы москвичи заметили только, что царь шел из дворца в собор в окружении поляков и что в церковь пущено было много польских гостей, а простых русских людей не пускали не только в Успенский собор, но и в Кремль, заполненный приезжими чужеродцами. Истинное положение дела, однако, пояснили толпе те агитаторы, которые вместе с князем В. И. Шуйским и другими боярами готовили переворот и свержение Самозванца. Они прекрасно воспользовались днями свадебного „веселья“ и быстро довели настроение москвичей до революционного кипения.

Их задача и не представляла особых трудностей. Ни Самозванец, ни его гости не понимали обстановки, в которой справляли свое „веселье“. Одни только серьезные поляки из состава официального польского посольства, присланного королем в Москву, правильно оценивали настроение Москвы; они держали свой „посольский двор“ на осадном положении и посылали во дворец опасливые предостережения. Прочая польская братия легкомысленно танцевала на вулкане. Из уст самих поляков имеем мы указание на то, что они вели себя шумно, распущенно и нетактично и вынуждали официальных московских лиц на некоторые репрессии. О своем презрительном отношении к московской вере и церкви свидетельствует, например, сам пан Стадницкий при описании пропо-

веди, яко бы слышанной лично им в подмосковном селе Вяземах. Он рассказывает, что поп прославлял Николу чудотворца и будто бы „свою речь заключил так, что коли бы бог старый змерл, Микула богом бы был“. На это будто бы издали дьячек возразил: „ляда, што поп гвары [1]), бо николи умирать бог не може стары“; а поп: „ляда, што дьяк бреше за порогом: не зимре бог, не буде Микула богом“. Эта рифмованная побасенка выдается Стадницким за факт, коего он был очевидцем, и, разумеется, свидетельствует о крайне несерьезном, циничном его отношении к религии страны. Такое же отношение москвичи, по своему опыту, предполагали и в других польских панах. На коронации Самозванца сопровождавший его польский посол при входе в церковь снял свою шапку с перьями; к нему тотчас же подошел думный дьяк Аф. Власьев и предложил послу подержать шапку, а когда тот ее отдал, то шапку унесли из церкви, чтобы поляк ее там не надел. Из этого вышла целая история, и сами поляки рассказывали, что это дело удаления шапки „было задумано ранее, чем вошли в церковь“, ибо москвичи боялись, чтобы „посол не надел шапки на голову с неуважением места действия и особы великого князя“. И такая боязнь была, повидимому, совершенно основательна: в лицо польским дипломатам московские бояре впоследствии бросали обвинение против польских гостей в Москве в том, что все они грубо нарушали церковное благочиние и оскорбляли религиозное чувство туземцев [2]).

Возбудить народную массу против царя, не крестившего своей жены, против Марины, не пожелавшей переменить „римской веры“ на „истинную“, против „литвы“ и поляков, овладевших дворцом, удалось чрезвычайно быстро. В дни после царской свадьбы, когда во дворце шли пир за пиром, и Само-

---

[1]) То есть, „худо, что поп пустословит“. Надобно заметить, что пан Мартын Стадницкий был одним из виднейших поляков в Москве: на похбде Марины Мнишек к русской столице ему вручена была „вся власть и управление двором ее величества царицы, как и гофмаршальская должность“.

[2]) По нейтральному свидетельству немца Паерле, польские послы во время коронации Самозванца потребовали для себя в церкви кресел и, получив от Самозванца отказ, отошли в сторону и все-таки сели.

званец в „гусарском“ платье тешился с польскими гостями, Москва уже бурлила. В ночь на 14-е мая на улицах было так неспокойно, что польские солдаты „были наготове, вооружившись, как для битвы“. На следующий день, 15-го, возник уличный беспорядок из-за мелкого бесчинства какого-то поляка; а 16-го числа все поляки уже определенно знали, что „москвичи начали сильно бунтовать“. Только Самозванец не верил, что его положение шатко. Он смеялся надо всеми предостережениями и самонадеянно высмеивал и „цесаря“ Рудольфа, и самого папу, и даже своего благодетеля — польского короля, о котором, впрочем, благосклонно замечал, что он не такой дурачина (блазень), как император Рудольф. Судьба посмеялась над ним самим. На рассвете, 17-го мая, Москва окончательно поднялась, и переворот совершился.

Насколько можно заключить из сообщений очевидцев, план бояр, заговорщиков против царя, заключался в том, чтобы начать дело польским погромом, направить народную массу на иноземцев, живших разобщенно в разных кварталах города, и этим лишить Самозванца польской помощи, а затем броситься на дворец и расправиться там с царем и его приближенными. Этот план удался вполне. В городе толпа начала избиение польских гостей, а боярский отряд прорвался в Кремль и овладел дворцом, где царь был убит, а Марина со свитой арестованы. В польских мемуарах рассказаны любопытные подробности погрома. Дворы, где жили иноземцы, подверглись грабежам и насилиям. Того, кто не сопротивлялся, чаще всего просто убивали, или же, избив и изранив, грабили. Там, где встречали сопротивление, начинали осаду и правильный бой. Уцелели лишь те поляки, которые успели затянуть свою защиту до развязки дела в Кремле. Когда бояре расправились с Самозванцем, овладели Кремлем и дворцом, они бросились прекращать погром в городе и везде останавливали кровопролитие и грабеж. Польское посольство и знатные поляки с их челядью, отсидевшиеся от толпы в своих дворах, были взяты под стражу боярами и затем, как военнопленные, разосланы по городам. Во время погрома было убито, по польскому счету, более 500 человек, а по частному московскому

сообщению — около 3500 человек [1]). Можно думать, что польская цифра гораздо ближе к истине, так как поляки сообщают нам точно количество жертв в свите многих панов, по собственному их тщательному подсчету. Среди погибших и потерпевших от погрома были не только знатные поляки: москвичи били всяких иноземцев, к ним близких, и не только вооруженных, но и мирных купцов, приглашенных в Москву секретарем Самозванца Бучинским и польскими панами. Так, погиб известный в то время миланский ювелир Челари (Cellari), несколько аугсбургских (немецких) купцов со слугами, два виноторговца из гор. Кросна, в Галиции, привезших в Москву венгерское вино; краковского купца Баптиста изранили и бросили замертво. Все их товары были или разграблены или конфискованы. Те из купцов, которые спаслись от погрома, были, вместе с прочими иноземцами, разосланы по городам. Москва была очищена, таким образом, от неприятных гостей, созванных Самозванцем. Старые обитатели Москвы, „немцы“ из Немецкой слободы, уцелели от погрома и были его сторонними свидетелями.

X

Одним бурным взметом народной волны опрокинута была попытка подчинить Москву католичеству и польской культуре. Рухнули расчеты польской королевской политики и надежды папской курии, — посадив царя-католика на московском престоле, ввести Московское государство в сферу политического влияния Рима и Польши. Москва осталась верна своей вековой ненависти к папству и непримиримой вражде к литве и полякам. После майского погрома 1606 года она обратила всех уцелевших панов в своих пленников. В самой Москве, в Ростове, Ярославле, Твери, Костроме, в Вологде и на Белоозере томились они в тяжелых, почти тюремных условиях, ожидая, пока дипломатическое вмешательство Речи Посполитой освободит их из заточения и вернет в отечество. Но и в том

[1]) Немцы сообщают другие цифры: Буссов — 2135 человек, Петрей — 1702. Почти ту же цифру (1705) дает Маржерет. У Массы показано 1500.

угнетении, в каком держали поляков их грубые пристава, подневольные польские колонии в Московской земле могли играть некоторую культурную роль. Как сами вельможные поляки, так и их челядинцы имели все-таки возможность двигаться по городу, в котором были внедрены, бывать на улицах и в торгу, говорить с народом и даже склонять стрельцов и мужиков к тому, чтобы они переносили вести от одних узников к другим. Так, подкупленный в Москве паном Петром Стадницким стрелец привез тайно из Москвы на Белоозеро пану Мартыну Стадницкому под видом молитвенника „итальянского Петрарку", в кожаном переплете которого было вклеено любопытнейшее описание осады Москвы Болотниковым в конце 1606 года. Такого рода общение городской толпы с иноземными узниками приучало московский народ к виду иноземцев, уничтожало страх пред ними, открывало возможность частичных влияний, готовило к тому, что последовало в ближайшие затем годы, к массовому вторжению тушинских поляков в Великорусье.

Как известно, с майским погромом и воцарением Шуйского смута московская не только не окончилась, но, напротив, вступила в новый, более сложный и тяжелый фазис. Поднятое первым Самозванцем население южных Московских областей (украйны) не поверило его гибели и во имя будто бы уцелевшего „царя Димитрия" двинулось к Москве против боярского царя Василия. Первый нажим восставших не удался. Царь Василий отразил нападение и после тяжелой, почти годовой кампании принудил восставших „воров" (так называли тогда незаконопослушных людей) к полной капитуляции, причем погибли и их вожди с Болотниковым во главе (1607 г.). Но тотчас же последовало новое восстание под предводительством второго Самозванца, к которому присоединились, сверх московских „воров", выходцы из Речи Посполитой, поляки и литва. Именно эти выходцы (князь Рожинский, пан Я. П. Сапега и др.) взяли в свои руки всю технику дела, стали военачальниками, довели восставших до самой Москвы, обложили ее и вблизи столицы основались на двух базах — в селе Тушине и в городке Дмитрове (1608 г.). Оттуда они и повели завое-

вание Великорусья. Литовские и польские отряды растеклись по всему среднему Поволжью, от Твери почти до Нижнего-Новгорода, переправились через Волгу, доходили до Вологды и не только захватывали города, но располагались по волостям, занимаясь или просто грабежем, или же реквизициями на свое войско. Против них Шуйский не только собирал русские войска из верных ему частей государства, но и „нанял" иноземные отряды ландскнехтов в броне и с огнестрельным оружием, доставленные ему шведским правительством за некоторые территориальные уступки. С этою „кованою ратью" московский военачальник князь М. В. Скопин-Шуйский сделал поход от Новгорода до Твери и Калязина, оттуда до Александровой Слободы, а затем и до Москвы (1609 г.). Целью такого похода было соединение с другими отрядами верных Шуйскому войск и совместное с ними движение против второго Самозванца. На походе Скопин учил своих русских воинов приемам регулярного боя под руководством иностранных инструкторов. Таким образом, обе стороны в московском междоусобии действовали под влиянием и главенством иноземцев. Никогда еще Великорусье не видело в своих недрах такого их количества. По современным показаниям польских и литовских войск у Самозванца было до 20.000 человек, а шведских наемников у Скопина от 10.000 до 15.000. И вся эта масса чужого люда распространилась по широкому пространству Московского государства, за исключением разве его северных и восточных окраин, и, пользуясь своим военным превосходством, держалась так, как держатся завоеватели в покоренной стране.

Дальнейший ход московской смуты привел к формальному вмешательству в московские дела соседних держав, а это вмешательство окончилось тем, что польский король завоевал западные и юго-западные области Московского государства (от Великих Лук до Вязьмы, Брянска и Чернигова), а шведы взяли всю Новгородскую область. Не видя иного выхода из своих междоусобий, москвичи признали своим царем польского королевича, но он не приехал, а польский гарнизон занял самую Москву (1610 г.). Новгородцы же призвали на „Новго-

родское государство“ шведского принца, рекомендуя его и москвичам. Казалось, что единое Московское государство перестало существовать. Ни одна книга, по выражению современника, не излагала „такового наказания ни на едину монархию, ниже на царства и княжения, еже случися над превысочайшею Россиею“. Не было уже государства, был только „останок“ его, не было народа, был только „останок рода христианского“. „Чужие руки“ завладели всем. Король Сигизмунд польский считал себя государем захваченной им Москвы и всей ее страны; его агенты правили делами в Москве, опираясь на военную силу. Король Карл шведский смотрел на Новгород, как на свою провинцию, и надеялся на династическую унию Швеции и Москвы. Только Московское Поморье и Понизовье не знало на деле иноземной власти, потому что на северные и восточные окраины Руси ни шведы, ни поляки фактически не попадали. Все остальное пространство во-очию видело „чужие руки“ и заневолю повиновалось им.

Но и на московский север были вожделения со стороны тех иностранцев, которые его знали. Архангельская торговля во время междоусобий замерла; иностранные купцы, захваченные смутою, или поспешно устремились на родину, или же. в бездействии пережидали исхода событий в Москве, Вологде и Архангельске. Некоторые из них высидели в Московском Кремле все осадное время до конца смуты. В Вологде иноземные купцы вошли в местный совет обороны края, чтобы действовать против Тушина „с головами и с ратными людьми в думе заодин“ (1609 г.). В Холмогорах сидел (1611 г.) такой опытный наблюдатель, как Джон Меррик, который знал Москву еще со времен Грозного и Годунова и хорошо осведомлял англичан о московских событиях. Не менее англичан и торговые голландцы следили за ходом московских дел. Один из них, Исаак Масса, издал замечательное описание московских смут. Он оставил центр Московского государства только в 1609 году, когда дорога от Ярославля до Белого моря была очищена от тушинцев и все иноземцы бросились к морю в Архангельск, где „нашли свои английские и голландские суда, которых они никогда уже не надеялись видеть“.

Под влиянием московских вестей в Англии созрел определенный проект привести под английский протекторат как московский север, так и волжский путь на Каспий, то-есть как раз те части Московского государства, которые не были заняты ни поляками, ни шведами и не находились под казачьим режимом. Автором этого проекта, возникшего, вероятно, в 1612 г., был, кажется, названный выше Дж. Меррик. Он ссылался на то, что сами русские совещались по данному вопросу с английским агентом на русском севере; и он полагал, что занятие важнейших северных русских городов английскими войсками может быть произведено за счет самих русских. Есть известие, что король английский Иаков I „был увлечен планом послать армию в Россию, чтобы управлять ею через своего уполномоченного (deputy)". В начале 1613 года по этому делу он отправил в Москву своих уполномоченных Дж. Меррика и Вильяма Росселя. Но они не начали даже и речи о протекторате, потому что застали в Москве уже избранного „всею землею" царя Михаила Федоровича. Одновременно с правительственными планами созревали на Западе и частные попытки вмешательства в московские дела. Так, на походе своем из Ярославля к Москве Пожарский „с товарищи" должен был посчитаться с одною из таких попыток. К нему явился „Шкотцкие земли немчин Яков Шав" (James Schaw) посланцем от большой компании разноплеменных авантюристов, во главе которой стоял „начальной воевода и боярин Ондреян Флодеран и Лит из Цысарские державы" (his nam is Adrian Floderan and Lit baronn") и с ним несколько полковников — немцев, французов и англичан. В их числе был и известный нам Маржерет, служивший первому Самозванцу. Шав объявил, что вся эта компания направляется через Архангельск на Русь „для договору наемного войска иноземцев" в надежде, что она „всей земле приходом своим велику радость учинит". Однако, правительство Пожарского думало не так и отказало в найме „Ондреяну фрейгерю с товарыщи", говоря, что они „оборонятся от польских людей и сами, Российским государством и без наемных людей". Ненадежность наемных войск русские люди испытали не раз и таким

„перелетам“, как Маржерет, не верили, зная, что в прежние годы он „воровал и злее польских людей чинил“ и сбежал из Москвы, „награбясь многого богатства“.

Мысль о необходимости выйти из смуты своими силами, без вмешательства и помощи со стороны, повидимому, крепко овладела московскими умами ко времени освобождения Москвы от польского гарнизона. В трудное время „разрухи“, то-есть полного распада общественных сил (1610—1611 гг.), москвичи охотно шли на то, чтобы признать любую власть, только бы она прекратила смуту. Одни держались польского королевича; другие вели переговоры о призвании шведского принца; третьи беседовали с английскими агентами об английском протекторате; четвертые думали о возможности приглашения Габсбургского Максимилиана. Но когда Москву „бог очистил и русскими людьми“, и явилась возможность собрать земский собор для царского избрания, этот собор прежде всего постановил не искать царя за рубежом, а избрать его из московских „великих родов“. Из своей смуты московское общество вынесло близкое знакомство с иноземцами; но это знакомство не перешло во внутреннее сближение. Иноземцы не всегда почитались врагами; но они никогда не представлялись истинными друзьями.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Первая половина XVII века

I

Московский народ вышел из смуты материально разоренным и духовно потрясенным. Пред правительством нового царя Михаила Федоровича стояли труднейшие задачи — привести в равновесие общественные силы, еще не остывшие от страстной борьбы, наладить хозяйственную жизнь страны и укрепить административный аппарат настолько, чтобы он мог работать для водворения внутреннего порядка и для государственной обороны. Эти реальные задачи сплетались с задачами иного порядка. За смуту московские люди „измалодушествовались“ и „поисшаталися“ в своих нравах и понятиях. Падение старых общественных устоев, вторжение массы иностранцев в московскую жизнь, междоусобия и связанные с ними „измены“ — расшатали старое мировоззрение, поколебали прежнюю уверенность в том, что Москва есть богоизбранный народ, „новый израиль“, и открыли дорогу сторонним влияниям на русские умы. Казалось необходимым вернуть общественное сознание на старые пути древнего благочестия и национальной исключительности. Во всех своих мероприятиях новая московская власть стремилась к тому, чтобы вернуться к старому порядку, „как при прежних великих государях бывало“. Она пока не чувствовала, что смута уже навсегда опрокинула этот старый порядок и что грядущая жизнь должна строиться заново, на сочетании старых основ с новыми элементами.

Одним из этих элементов были иностранцы, представители европейской общественности, с их техникой, капиталом и культурой. За годы смуты они настолько распространились по Московскому государству, что стали знакомы каждому русскому. Какие бы чувства они ни возбуждали в православных людях, все-таки православные люди должны были уразуметь, что им без иностранцев вперед не прожить. Прежде всего, в многочисленных боевых столкновениях с вражескими отрядами русские убедились, что их военное искусство стоит гораздо ниже, чем у „немцев", где оно обратилось в особое весьма разработанное ремесло. При Василии Шуйском они впервые воспользовались наемными европейскими войсками, посредством простого найма, и постепенно пришли к убеждению, что без таких войск вперед им воевать нельзя и что необходимо самим перенять у „немцев" их боевую технику. Эта техника и представлялась наиболее важным предметом заимствования в первые годы после смуты. Но и другие продукты заморской техники влекли к себе внимание русских людей, привыкших в смутное время своими глазами наблюдать обиход иностранцев. По мере того, как Москва оправлялась от пережитых ею потрясений, она заявляла спрос на самые разнообразные предметы заграничного производства, от музыкальных инструментов и часов до металлических изделий тонкого производства и до аптекарских снадобий, неведомых на Руси. Московскому спросу удовлетворяли английские и голландские купцы и всяких национальностей „мастеры", в большом числе появившиеся на С. Двине после успокоения Московского государства. Чрез их посредство в московскую жизнь вошел иностранный торговый капитал, в гораздо большем размере и с гораздо большим влиянием, чем до смуты. При общем московском оскудении он оказался главной силой на русском рынке, и московское правительство неизбежно должно было вступить с ним в тесную связь в своих усилиях изжить экономический кризис. Иностранные купцы стали распорядителями русского торгового оборота и поставщиками серебра (даже самой русской монеты) для московской торговли. Они взяли такое засилье в московской торговой жизни,

что местный торговый класс настойчиво стал искать защиты у правительства, пока не добился некоторых ограничительных мер в отношении торговых льгот иноземцев. Таким образом, заморский солдат-профессионал, „мастер"-техник и купец обратились в необходимую принадлежность московской жизни. Большое число „немцев" осело в самой Москве и в торговых русских городах и, находясь в близком деловом и житейском общении с русскими, не могло оставаться без влияния на своих сожителей.

В двух отношениях это стороннее влияние оказывалось неотразимым. Во-первых, иноземцы больше москвичей знали и умели; волей-неволей у них приходилось учиться, а не их учить. А во-вторых, они привольнее и веселее жили. Под аскетическим давлением ветхой византийщины московское духовенство гнало всякие проявления здоровой жизнерадостности. Оно почитало грехом все, что отходило от церковного миросозерцания; оно грозило вечными муками за невинное веселье, если усматривало в нем что-либо еретическое или „басурманское". Лишь в короткие периоды больших праздников, в пьяном угаре, московский люд развертывался во-всю, поражая сторонних наблюдателей стихийною разнузданностью дикого веселья и разгула. Но на это Москва смотрела, как на „падение" и грех, в чем предстояло каяться и, быть может, страдать в аду. Иноземцы же в своей среде жили, не боясь ада, без угнетающей мысли о предстоящем неумолимом возмездии за свободное проявление жизнерадостного духа. И эти формы неведомой дотоле русским людям эпикурейской общественности неотразимо влекли к себе, как солнечный луч влечет к себе из мрака подземелья. Подпадая очарованию „немецкой" культуры, русские неизбежно соприкасались с ее основой — с тем протестантским мировоззрением, которое освобождало души от внутреннего рабства и которое являлось на Русь не только в виде умеренного лютеранства, но и в виде более радикальных рационалистических сект. Отсюда у православных возникал страх уклонения в ереси и забота о борьбе с ними, причем в этом благочестивом деле они не могли обойтись своими силами, а искали помощи у православных

украинцев из Речи-Посполитой. Эти же последние являлись в Москву не только представителями ученого правоверия, но и носителями столь же чуждой Москве польской культуры, стало быть, проводниками особого стороннего культурного влияния. Если к ним прибавить еще выходцев с православного Востока, приезжавших в Москву за милостыней, а также на службу и житье и приносивших с собою свой культурный уклад, то получится полный перечень тех культурных влияний, какие назрели в Москве после смуты, к середине XVII столетия. Военное ведомство, торговая сфера, начатки промышленной техники, вопросы веры и обряда, житейские обычаи — все это стало в Москве под сильнейшее стороннее воздействие. В том или ином виде все вопросы общественности сводились к одному общему вопросу о заимствовании, и было ясно, что заботы московских охранителей о возвращении к благочестивой старине осуждались жизнью на полную неудачу.

Русская историческая наука располагает большим количеством материала для изучения культурных заимствований Москвы в XVII веке и уже давно сдала в архив старое представление о „неподвижности“ и „окаменелости“ русской жизни до Петра Великого. Необходимы были бы целые томы для полного изложения той культурной эволюции, какая совершилась втечение XVII века в жизни руководящих слоев московского населения, и мы, конечно, не можем исчерпать всего относящегося к нашей теме материала. Из него мы можем взять лишь наиболее яркое и характерное для определения тех материальных и идейных новшеств, какие были усвоены московскими людьми XVII века; мы можем дать лишь несколько характеристик лиц, наиболее показательных для обрисовки существовавших в ту эпоху направлений.

Начнем с военной сферы.

II

С первыми признаками успокоения Московского государства, после его многолетних неурядиц, иностранцы снова потянулись к Архангельску. Помянутый нами не раз голландец Масса с 1612 года сторожил в Архангельске той минуты,

когда можно будет возобновить торговые операции с Москвой, а пока, до поры до времени, следил за тою контрабандою, какую вывозили с Двины ловкие голландские спекулянты: „многие тысячи мехов в бочках под именем сала или рыбьего жира". Конечно, эта случайная разбойничья эксплоатация русского Севера не могла заменить для „господ генеральных штатов Нидерландов" правильной торговли с Россией, и штаты, при первых же вестях о воцарении Михаила Федоровича, в ответ на официальное его обращение к штатам, спешили обратить Массу в своего гласного агента и поручили ему наблюдение за торговыми интересами голландцев в Москве. Независимо от Массы, и даже опережая его, еще много других голландских купцов на свой страх, частным порядком, стремились получить торговые льготы у нового московского царя. Царь еще не успел из Костромы, где он принял царский сан, добраться до столицы, как его уже настигли на пути, в Ярославле, торговые голландцы со своими поздравлениями и просьбами о жалованных грамотах и о пропуске в Москву. И они добились своего: их „рекся государь пожаловати на Москве", и действительно пожаловал Георга Кленка, Марка Фогеляра и других голландцев теми же правами и льготами, какими они пользовались до московской разрухи. При таких условиях голландская торговля сразу возродилась в Московском государстве и стала расти еще быстрее, чем до Смуты, а нидерландское правительство, — „статы-генералы", как его называли в Москве, — с большим вниманием и ловкостью продолжали дипломатические сношения с Москвой, охраняя для нидерландских граждан дорогу в Московию, которая для них казалась „столь же прибыльна, как и плавание в Испанию" (то-есть, иными словами, в Америку).

Не хуже голландцев некоторое время действовали и англичане. Они также старались воспользоваться московской смутой и, благодаря упадку в смутные годы правительственного надзора, вытягивали с русского Севера все, что только удавалось (меха, рыбий жир); но они не рисковали ездить в московский центр, боясь насилий и беспорядка. Операции английской компании „Muscovy Company", действовавшей на Бело-

морских побережьях и на Печоре, в годы московской „разрухи“ 1611 и 1612, дали ей до 90% дивиденда, — ясное доказательство того, что эксплоатация северных окраин несчастной Московии велась в широких размерах. Возможности возобновить сношения англичан с самой Москвой долгое время ожидал в Холмогорах и Вологде английский „гость“ Джон Меррик — лицо, замечательное по способностям и любопытное в бытовом отношении. Он был сыном Вильяма Меррика, в 1573 году присланного из Англии торговым агентом в Москву [1]). Вместе с отцом он жил на английском подворьи (на Варварке) в Москве, выучился по-русски и с 1584 года сам стал агентом в Ярославле, а позднее, с 1592 года, был назначен агентом в Москву. Он, по словам И. И. Любименко, „принадлежал уже к новой эпохе англо-русских отношений, когда англичане глубже проникли в русскую действительность“. В его пору среди англичан, живших в Москве, „многие из молодого поколения родились и воспитались в России, знали русский язык и только на время своего образования отсылались родителями в Англию“; поэтому, возвращаясь для коммерческой работы в Москву, они „действовали в русской среде не только как пришельцы, но и как аборигены“. Личные способности Джона Меррика выдвинули его из среды простых агентов английской „компании“, имевшей право льготного торга с Москвой, в число ее полноправных членов, а позднее и директоров. В царствование Бориса Годунова, в 1602 году, он был в Москве даже посланником королевы Елисаветы; при первом Самозванце он также играл роль официального лица. Позднее, в период полного распада Московского государства, он выехал в Англию и выдвинул там проект установления политического протектората Англии над русским Севером. С этой целью, как мы видели выше, он и был послан королем Иаковом в Архангельск. Прибыв туда в июне 1613 года и, узнав, что в Москве есть новое правительство и новый царь Михаил Федорович, он оставил мысль о протекторате, учел возможность укрепления порядка на Руси и возобновления торговых сношений

[1]) Отсюда его русское имя — Иван Ульянов.

с Москвою и вернулся в Англию, не побывав в самой Москве. В Москву он явился в следующем году с особыми полномочиями и успел занять в ней роль политического консультанта и посредника в длительных переговорах со шведами. Его ловкая и умная работа укрепила положение англичан в Московском государстве и дала им возможность в большом числе вернуться на московские рынки с сохранением прежних льгот и преимуществ.

Соперничество англичан и голландцев при московском дворе, благодаря удачам ловкого Меррика и его таланту, на первых порах вело к торжеству англичан, и только поразительная бестактность преемника Меррика — английского посла к царю Михаилу — Дигса (Dudley Digges) испортила дело. Дигс был послан в 1618 г. в Россию с деньгами от торговых английских организаций, решивших дать московскому правительству взаймы большую сумму (будто бы до ста тысяч рублей) под условием удаления голландцев с внутренних русских рынков и открытия англичанам Волжского пути для торга с Персией. Дигс прибыл в августе 1618 года в Холмогоры, но там (вероятно, узнав о нашествии на Москву польского войска) испугался возможности потерять свои деньги и потому спешно бежал обратно. Его побег на суда был совершен тайно, а выход в море совершился с шумом. Для того, чтобы его не вздумали удерживать, он шел на своих двух кораблях, „стреляя ядрами во все стороны“. Он так спешил, что оставил в руках своего секретаря даже некоторую часть привезенных им денег. Брошенные им в Холмогорах англичане, и с деньгами, были доставлены в Москву, где русские не скрывали, что возмущены поступком Дигса, и демонстративно ласкали голландцев, одновременно прибывших в Москву с „субсидией“ от штатов царю. Их субсидия состояла из пороха, свинца, фитилей и пушечных снарядов на довольно крупную сумму. С этого момента счастье, как будто, начало изменять англичанам: голландцы на русской почве стали приобретать над ними больший и больший перевес, и число голландских кораблей, приходивших к Архангельску, стало постоянно, из года в год, превышать число английских.

Несомненно, что причины упадка английского торга с Москвой лежали также и в области политической английской жизни того времени: английские внутренние смуты отражались на ходе внешних сношений Англии.

III

Так возродилась после Смуты организованная торговля европейских стран с Москвой. Параллельно шел и стихийный наплыв иноземцев в успокоенную Москву. Мы уже видели, что в самые первые минуты царствования Михаила голландцы Г. Кленк и М. Фогеляр выпросили у него для себя лично жалованные грамоты на льготный торг. Таким же порядком немногим позднее получили англичане Т. Смит и „рыцарь Иванов Анкин“ право свободного торга в собственных „подворьях“ (а не только в „гостиных дворах“). За ними тянулся длинный ряд купцов и „служилых немцев“, желавших осесть на Руси. Из Москвы спрашивали архангельских воевод, зачем „пришел“ на том или ином корабле немчин: „на наше ли (царское) он имя выехал, или на наем служити?“. Повидимому, предпочитали выезжих „на царское имя“, то-есть на постоянную бессрочную службу, и таких звали в Москву; „а будет тот немчин скажет, что приехал к нам служити на наем“, то ему указывали отвечать, что „на наем ныне нам, великому государю, люди не надобны“, и милостиво „отпускали его в свою землю“. Так поступили летом 1613 года с англичанином „Вилемом Ватцы“. Так же, мы видели, было поступлено еще при Пожарском с компанией „фрейгеря Флодерана“, когда она искала „найма“ в земскую рать, шедшую на освобождение Москвы; но когда один из этой компании авантюристов, полковник Астон, явился в 1615 г. снова в Россию с рекомендацией короля Иакова I и с желанием поступить „на службу“, то на службу его взяли и с титулом „выезжего Английские земли князя Артемья Астона“ отправили тотчас же в „поход за Лисовским“, известным польским партизаном, дав Астону под начальство около 250 служилых иноземцев. Со стороны московского правительства замечается в эти годы даже жела-

ние привлечь в самую Москву побольше иноземцев, пожелавших жить в России. Из одного дела 1614 года о „голанские земли торговом немчине Симанке Клементьеве сыне Бусе", узнаем, что Симону Бусу в Холмогорах было объявлено, будто бы „велено де нас, всех иноземцов, от Архангельского города выслать к тебе, государю, к Москве по твоему государеву указу". Бус просил оставить его на севере на том основании, что он там крепко обжился, торгует „лет с десять и на Холмогорах купил себе двор и женился тому три годы"; для него большое неудобство, что де „меня иноземца с женишком и с детишками и со всеми животы высылают на житье к тебе, государю, к Москве". Буса оставили в покое; но других селили в Москве, и притом не по старому обычаю, не в особых слободах, а по всему городу, кроме разве его цитаделей—Кремля и Китая. В 1618 году, во время подступа к Москве польской армии королевича Владислава, иноземцы „старого выезда" и новоприезжие составляли уже заметный элемент в московском гарнизоне и распределялись, на случай штурма, вместе с прочим населением по разным участкам московской крепостной ограды. В последующие годы (1620—1640) число иноземцев, живших особыми дворами в Москве, быстро росло. „Район Покровки (говорит Д. В. Цветаев) оставался главным их центром, но они являлись теперь и на Тверской, и на Арбате, Сивцевом Вражке; на восточной окраине города возникли целые селеньица, именно — в Огородниках «немецкая слобода», небольшая, нечто вроде погоста, и «иноземная слобода», за старым деревянным городом, на линии между Сыромятною и Мельнишною слободами, в 1638 году имевшая около полсотни домов" [1]).

В середине XVII века посетивший Москву ученый немец из Голштинии Олеарий (Адам Эльшлегер, Oelschläger) насчитал до 1000 человек (bey tausend Häupter), служивших и торговавших в Москве лютеран и кальвинистов. Особенно уве-

---

[1]) Д. В. Цветаев. „Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований". М. 1890, стр. 249.

личилось количество иностранцев в Москве с тех пор, как правительство решилось на вербовку за границей целых полков из иностранцев и на формирование в России полков иноземного строя из своих русских людей. В 1630—1631 г.г. было указано „прибрать“ к служилым иноземцам в городах „детей боярских безпоместных“ и „быти им в ратном ученьи на Москве у двух немецких полковников, у Александра Лесли да у Франца Пецнера, с московскими немцы, по тысяче человек у полковника“. Тогда же созрело решение, в виду возможной войны с Речью Посполитой, послать за границу доверенных людей для найма ландскнехтов, и тот же Александр Лесли получил приказ ехать в Швецию для найма „охочих солдатов пеших пяти тысячь“. А в Гамбург и в Любек направлен был с такою же целью голштинец подполковник Генрих фон-Дам, которому поручено было сформировать в Северной Германии по найму целый „регимент“ или полк в 1600 человек. В результате последовал наплыв в Москву большого числа иноземцев „нового выезда“, на что московское население смотрело с неудовольствием. Ниже будет видно, какими мерами москвичи постепенно добились удаления из московских посадов в особые слободы под Москвою всех вообще иноземных людей. Случилось это уже в 40-х годах XVII столетия.

Весь этот „новый выезд“ состоял почти сплошь из представителей различных протестантских толков. Католиков Москва у себя иметь не хотела, и Лесли получил наказ „наймовать ратных людей, добрых и верных, а французан и иных папежские веры не наймовати“. Иноземцы-католики в Москве были в очень малом числе, главным образом среди того люда, который случайно застрял на Руси после Смуты в качестве пленных или же просто прижившихся в новом отечестве людей. Борьба с католичеством, столь острая в годы самозванщины и польской оккупации, при царе Михаиле как бы заглохла, а на первый план выступила забота о мерах охраны православных от протестантских „ересей“, приносимых нахлынувшей массою „немецких“ купцов, военных и всякого дела мастеров.

IV

Надо теперь же отметить, что одновременно с „немцами“ после смуты потянулись в Москву из-за границы люди иных племен и вер. Кроме случайных выходцев с Балканского полуострова, которые служили в войсках (и которых звали в Москве: „гречане, сербяне, волошане, угряне, мултяне“), в первой половине XVII века в Москве постоянно находились выезжие с православного востока духовные лица разных санов, от патриархов до простых монахов. И чем дальше шло время, тем их становилось больше, до того, наконец, что московские власти начали принимать против их выезда запретительные меры. Часть этих посетителей являлась на время, за „милостыней“, то-есть за субсидиями своим епархиям и монастырям и за подарками себе; а часть выезжала „на государево имя“, то-есть „на вечное житье от гонения турских людей“. До поры до времени их принимали радушно и помогали им щедро. Приехавших „на царское имя“ определяли к делу „книжного исправления“, иначе говоря, к редакторским работам на Печатном дворе, и к обучению русской молодежи греческому языку и латыни для того же дела книжного исправления. Просивших милостыню после благосклонного приема отпускали домой с богатыми подачками. Бытовая обстановка этих посещений была гораздо ниже их показной идейной стороны. Угнетенные мусульманским насилием страдальцы за веру, искавшие в Москве моральной и материальной поддержки, восточные иерархи являлись на русскую границу с большою свитой, часто пестрого и странного состава: в ней, под видом священства и монашества, состояли всякого рода проходимцы, а под видом слуг — купцы. Сами греки писали, что, например, иерусалимский патриарх Паисий по дороге в Московское государство (около 1648 — 1649 г.) набирал в свою свиту кого попало, записывая всех духовными лицами, с тем, чтобы они уступали ему известную часть из тех подарков, какие получат в Москве. Он же, кроме того, записал к себе в свиту своими слугами многих купцов-греков, чтобы провезти их в Москву

на казенных подводах и харчах вместе с их товарами, без осмотра и пошлин. За это, разумеется, он получил довольную мзду. Можно себе представить, какой разноплеменный и разнохарактерный люд являлся в Москву в этих благочестивых караванах с Востока и с каким подозрением и недоверием должны были смотреть москвичи на этих представителей греческого православия.

С таким же недоверием смотрели они сначала и на выходцев в Москву из западно-русских областей Речи-Посполитой. Число их сильно увеличилось с 1620 (приблизительно) года. В смуту оттуда, из Литвы и Польши, наступало на Москву много врагов Московской Руси, и после смуты московским людям трудно было разбираться в том, кто в Литве и Польше православный, а кто униат, или католик, или сектант, и затем — кто искренний друг и кто лукавый доброжелатель или же открытый враг. Пестрота племенного состава и вероисповедных отличий в Речи Посполитой была чрезвычайна, и потому теперь, по замирении страны, Москве надобно было присмотреться и привыкнуть к народу, шедшему оттуда „на царское имя", чтобы правильно определить свое отношение к нему. Этим и объясняется, почему Московские власти дошли в первое время общения с западно-русскими до того, что „перекрещивали" уже крещеных людей и у всякого выходца домогались узнать, „русским ли крещением крещены" они, „в три ли погружения", или же их только „из кувшинца обливали". Однако, время взяло свое: в Москве оценили ученость Киевской духовной братии и сообразили необходимость перенести богословскую православную науку в Москву. С 1648 года Московское правительство само начинает вызывать к себе ряд ученых монахов-киевлян и признает их авторитет в вопросах догмы и церковного устройства. К середине XVII столетия в различных монастырях, как в самой Москве, так и в провинции, образовались целые гнезда украинских монахов. Так, в Дудине монастыре на Оке собралось до сотни выходцев из разных малороссийских обителей; в Андреевском подмосковном монастыре поселено было несколько десятков „учительных" монахов южно-руссов и западно-руссов, почему и самый

монастырь слыл под названием „особого иноземского монастыря“. Такие гнезда явились главными рассадниками южнорусского влияния в московском обществе.

V

Такова была сложная культурная обстановка, в которой приходилось жить обывателю крупных московских центров вроде самой Москвы, Ярославля, Вологды, Новгорода. Служилый иноземец; торговый „немец“; заморский техник — „мастер“ того или иного „дела“; ученый монах украинец; грек-попрошайка, прикрытый священною рясой; поляк или чех-сектант, верующий в возможность построить веру на разуме, — все эти типы мелькали пред глазами москвичей, поражали их воображение, будили мысль, тревожили совесть вопросами жизни, духа и веры. Наиболее вдумчивые или впечатлительные из московских людей немедля отозвались на новины или тем, что стали им сочувствовать и пошли им вслед, или же тем, что стали искать средств борьбы против надвигавшейся опасности, ибо чуяли гибель старых устоев.

Среди первых, насколько можно судить, преобладали оппортюнисты и карьеристы. Когда при московском дворе Самозванец дал ход польским обычаям и людям, тотчас явились подражатели „польскому манеру“. Когда позднее поляки захватили Москву, и пан Гонсевский начал ею править, вокруг него собралось не мало таких подражателей. Типическою фигурой среди них был дьяк Иван Тарасьевич Грамотин [1]). Он еще в Тушине при втором Самозванце привык к общению с поляками и усвоил польский язык; при Гонсевском он обратился в „милостивого пана“, весьма влиятельного среди опо-

[1]) Другая его фамилия была Курбатов. В Москве был обычай не довольствоваться родовой фамилией, а прибавлять к ней или же употреблять в замену фамилию, образованную от прозвища или отчества отца. Так, ниже упоминаемый нами князь Иван Андреевич Хворостинин назывался Хворостинин-Старков, потому что прозвище его отца было „Старко“. Род Кошкиных с каждым поколением менял фамилию Захарьины, Юрьевы, Романовы — по имени дедов.

ляченной московской администрации. Его сближению с поляками помогло и то, что в молодости он простым подъячим ездил два раза в посольствах в Германию, побывал в Чехии, в Гамбурге и Любеке, в Лейпциге, Дрездене, Нюрнберге и других городах. Это знал Масса, ведший с Грамотиным деловые переговоры, и дал о нем такой отзыв: Грамотин „бывший послом при Римском императоре, похож на немецкого уроженца, умен и рассудителен во всем и многому научился в плену у поляков и пруссаков". Надо только помнить, что „плен" Грамотина был не военным, а, так сказать, духовным и добровольным. Он сам тянулся к иностранцам и без принуждения усвоил немецкое обличье и польский язык. Его интимные письма к знатным полякам в 1610—1611 годах говорят о том, что он открыто держал сторону Сигизмунда против Москвы и был изменником своей родине [1]). Когда же обстоятельства переменились, и родина сбросила с себя польскую диктатуру, Грамотин съумел обратиться в патриота, вернулся в Москву из польского лагеря и, как человек способный и опытный, сделал там карьеру. Он много лет (до 1635 г.) держался у дел и дожил до глубокой старости. Во всем поведении Грамотина всегда сквозило одно — стремление к житейскому успеху, которого он ищет хотя бы ценою потери личного достоинства и чести. В нем и ему подобных нет ничего принципиального и идейного. Иноземное новшество для него — удобное и приятное житейское средство; старые устои — нечто, не имеющее цены.

Но рядом с такими практиками были в Москве и люди с совестью, для которых новизны, приносимые жизнью, соста-

---

[1]) Вот выдержка из одного письма Грамотина литовскому канцлеру Сапеге (в сентябре 1610 г.): „...Ознаймую вашей милости, жем до Москвы доехал здорово, и по росказанью (приказу) короля его милости и вашей милости вшитко добро справили, ...а на Москве патриарх и все духовные, так теж бояре и всех станов люди королевича... обрали государем и крест целовали: сподеваемся вперед вшекого добра. А о иных наших справах молвилом шире с его милостью с паном старостою Велижским (Гонсевским). Прошу вашей милости, росскаж (прикажи) ми себе, ваша милость, служити, а я барзо рад"...

вляли предмет мучительных переживаний. Счастливая случайность сберегла для нас образ одного из таких людей: в документах начала XVII века, вообще бедных биографическими материалами, сохранились данные для изучения жизни и характера любопытнейшего деятеля времени смуты и царствования Михаила. Разумеем князя Ивана Андреевича Хворостинина, начавшего свою службу при первом Самозванце и умершего в 1625 году. Его можно назвать первой ласточкой московской культурной весны, жестоко пострадавшей от холодного дуновения московской косности. В юношеском возрасте, подобно всем знатным москвичам, он был взят в придворную службу и завяз в той тине разгула и разврата, в которой погрязал двор первого Самозванца. Самозванец включил его в тесный круг своих предосудительных любимцев и почтил его званием „кравчего“ [1]). Хворостинин очень выдавался как своим положением фаворита, так и поведением. Иностранцы его весьма замечали. Масса называет его надменным и все себе позволявшим мальчишкой. Поляк Немоевский, описывая парадный пир после свадьбы Самозванца, обстоятельно говорит о том, как „после первого кушанья Хворостинин, кравчий великого князя, красивый юноша в 18 лет, невысокий“, переодевшись в другой парчевый кафтанчик (giermaczek), — что он делал два раза в течение обеда, — принес в прекрасном бокале из горного хрусталя (del cristal di montania) вина Самозванцу. Роль Хворостинина на пиру, по словам Немоевского, была особенно заметна потому, что он один правил две должности при баловавшем его государе — должности кравчего и чашника (podczaszego). Зато с падением Самозванца Хворостинину пришлось пострадать: его отправили на покаяние („сослали под начало“) в Иосифов Волоколамский монастырь. Причину же ссылки ему объяснили так: „как ты был при

[1]) По старинному определению, кравчий „наблюдал все то, что до стола государева касалось, как-то: посуда, напитки, столовое белье и проч., стоял при столе, когда государь кушает, а особливо в праздничные и церемониальные дни, прямо против государя, для разнимания и подавания кушанья“. Даль в своем „Словаре“ слово „кравчий“ или „крайчий“ производит от „кроить“, „рушить“: „кто рушит за столом жаркое, пироги“.

Ростриги у него близко, и ты впал в ересь и в вере пошатался и православную веру хулил и постов и христианского обычая не хранил". Конечно, при дворе Самозванца трудно было хранить „христианский", то-есть старый московский обычай. Но, вероятно, только в этом и видели „ересь" Хворостинина, так как иного еретичества, собственно церковного, в нем тогда не обличили. Прошло время Шуйского, и в 1610—1611 году Хворостинин опять в Москве и под Москвою. В числе прочих патриотов он осаждает в Москве польский оккупационный отряд и после сдачи Кремля войскам Пожарского одним из первых входит в Кремль и ищет там могилу Гермогена, которого почитает, как самый верный сын церкви и горячий поклонник. В своем историческом произведении „Словеса дней и царей и святителей московских" он патетически описывает, как вместе с другими почитателями патриарха спрашивал он монахов Чудова монастыря, где у них погребен патриарх: „где положисте от еретик пострадавшего Христа ради нашего учителя, рцыте нам!"... „где воин и заступник веры нашея, повествуйте нам!"... В этих восклицаниях ясно видится стремление показать себя ревнителем православия, далеким от какой бы то ни было ереси. И, повидимому, в исправление Хворостинина от „еретичества" власти поверили: в первые годы царствования Михаила Федоровича ему дают ответственные должности; он участвует в войнах с поляками; ему жалуют награды за храбрость и верность. Его сомнительное прошлое как будто бы было забыто.

Но через несколько лет его вспомнили. Поведение Хворостинина, когда он живал не на воеводствах и в походах, а в самой Москве на дворцовой службе, возбуждало подозрение властей и вызывало осуждение со стороны частных лиц. Князь Семен Ив. Шаховской, известный писатель XVII века, происходивший из того же рода Ярославских князей, как и Хворостинин, был лично с ним знаком и оставил любопытные о нем отзывы в своих произведениях, писанных около 1622 г. В это время Шаховского постигла царская опала; даже посторонние люди приходили к нему с сочувствием и помощью, а его далекий родич Хворостинин не только не помог ему, но

и не посетил его. А между тем, Хворостинин, по словам Шаховского, считал себя нравственно совершенным человеком и желал поучать других. С горечью замечает о нем Шаховской, что „такова бо человека и нрава его воистину далече бежим, понеже фарисейскою гордостию надмен“... Но затем сам же Шаховской написал Хворостинину письмо, убеждая его на деле показать свою любовь и милосердие к страждущим. Позднее, когда Шаховской был в гостях у Хворостинина, между ними возник любопытный спор, описанный Шаховским. Дело шло о шестом вселенском соборе; Хворостинин говорил, что он не был вселенским, и очень дерзко обошелся с Шаховским: „Укорял мя еси“, — писал ему Шаховской, — „вчерашнего дня в дому своем, величаяся в рабех своих и превозношася многим велеречием и гордяся, реку, фарисейски, мняся превыше всех человек учением божественных догмат превзыти. Наше же убожество грубо и несмысленно нарековал еси и отнюдь чюжа учению священного и отцепреданного писания, и за малое мое некое речение препирахся еси гневно и люте свирепствова“. Выговаривая Хворостинину за его грубость, Шаховской ставил ему на вид, что „несть полезно благоверну мужу тщеславием побежденну быти или зверски яритися на друга“. От высокоумия, тщеславия и гордости Хворостинина, по словам Шаховского, не он один страдал: „измлада обыкох еси в такове велехвальне обычае быти“, говорит он Хворостинину, подтверждая этими словами более ранние показания Массы о поведении „надменного и все себе позволявшего мальчишки“. Шаховской успел даже заметить стороннее влияние на своего сородича: он говорит, что главным потаковником заблуждений и страстей Хворостинина был только что перешедший в православие Заблоцкий, очевидно, поляк.

Иноземное и иноверное влияние на Хворостинина замечало и Московское правительство. Обыски, два раза произведенные в доме Хворостинина, обнаружили у него латинские книги и образа. О нем узнали, что он „учал приставать к польским и к латинским попам и к полякам и в вере с ними соединился“. На первый раз его простили. Но Хворостинин не

одумался и отстал не только от православия, но и вообще от церковного учения. Он стал отрицать воскресение мертвых, необходимость поста и молитвы; людей своих не пускал в церковь, сам на страстной неделе в 1622 году „пил без просыпу", ел мясо, не был в церкви на Пасхе и не поехал с поздравлением во дворец. С другой стороны, Хворостинин в это же самое время обнаруживал и „к измене шатость". Он думал „отъехать в Литву" и для этой цели, как догадывались, хлопотал в Разрядном приказе, чтобы его отпустили на литовскую границу на посольский съезд, вместо того, чтобы быть на „береговой службе" против ногайцев. Хворостинину в Москве казалось скучно: „все люд глупой, жити не с кем": московские люди „сеют землю рожью, а живут все ложью". Свою тоску и презрение к московским людям изливал он „на письме": в стихотворных книжках его слога были „многие укоризненныя слова писаны на виршь" против московских порядков. Все это послужило поводом ко вторичной ссылке Хворостинина под начал в Кириллов монастырь.

Он был послан туда в 1623 году и должен был там жить в особой келье под надзором „доброго" и „житьем крепкого" старца. Ему было запрещено выходить из монастыря, и никто не мог его посещать. Патриарх требовал, „чтоб у него без келейного правила не было ни одного дни и церковного-б пения николи не отбывал". Вероятно, кн. Хворостинин скоро обнаружил признаки раскаяния, потому что в конце 1623 года власти Кириллова монастыря, не спросясь у патриарха, допустили своего узника к исповеди и причастию. За это последовал им выговор от патриарха; но вместе с тем и сам патриарх признал возможным снять с Хворостинина наложенное наказание. В ноябре 1623 года послал он в монастырь „учительной свиток", в котором заключалось опровержение главного заблуждения Хворостинина — о воскресении мертвых. Этот свиток монастырские власти должны были сперва прочесть Хворостинину на соборе, а затем истребовать от него торжественное отречение от прежних ересей. Учительный свиток он должен был подписать своею рукою. Все это было исполнено: князь был „в вере истязан и дал на себя в том

обещанье и клятву", что будет строго блюсти православие. Вслед за этим 11 января 1624 года человек князя Хворостинина, Иван Михайлов, привез в Кириллов монастырь царскую грамоту об освобождении Хворостиннна из монастыря. Власти должны были отпустить его к Москве на своих подводах и со своими служками, „для береженья и проезду". Однако, князь был отправлен, как арестант, с приставами, которые заранее должны были известить правительство о приближении его к Москве. Одновременно с последнею грамотой монастырским властям послана была грамота и самому Хворостинину. В ней государь и патриарх объявили князю полное прощение, велели ему „видети свои государския очи и быти во дворянех по прежнему". Но недолго пользовался Хворостинин милостью государей: через год, 28 февраля 1625 г., он скончался и был погребен в Троице-Сергиевом монастыре. В конце своей жизни он принял монашество с именем Иосифа.

Такова была жизнь князя Хворостинина. Редкая личность его века может быть характеризована с такою определенностью, как он. Современники замечательно сошлись в его нравственной оценке, считая его самоуверенным, надменным и дерзким. Шаховской, как мы видели, говорил ему это в глаза. Заявлялось это и в правительственных грамотах, обращенных к нему: „в разуме себе в версту не поставил никого", писали ему из Москвы при его освобождении из монастыря. Мы имеем возможность и сами убедиться в истинности подобных отзывов. Вопреки литературным обычаям своей эпохи, Хворостинин в своих „Словесах дней" далек был от авторской скромности и самоуничижения. Передавая свою беседу с Гермогеном, он не затруднился его устами сказать себе высокую похвалу. В сознании своего превосходства над другими русскими людьми Хворостинин не умел уступать им и уживаться с ними. Он ищет другой среды и, познакомясь с польскою цивилизацией при Самозванце, стремится к ней и впоследствии: читает польские книги, знается с выезжим поляком, молится католическим иконам. Раз осмелившись выйти из круга установившихся в Москве понятий, он потом далеко заходит в своем отрицании и начинает скептически относиться

даже к частностям обще-христианской догмы. Но смелая работа его ума не дает ему твердой нравственной устойчивости. Если его юношеские грехи могут быть извиняемы молодостью, то позднейшее поведение прямо свидетельствует о распущенности его нравов. Слабость к вину составляла главный порок Хворостинина. Патриарх, увещевая его отстать от ереси, прямо говорил ему, что его губило именно „безмерное пьянство“. Читая произведения Хворостинина, мы убеждаемся и в том, что постоянство взглядов не было его добродетелью. Кроме помянутого выше сказания о смутном времени „Словеса дней“, до нас дошло еще одно творение Хворостинина, именно, „Изложение на еретики“ — трактат сложного состава, изложенный частью прозою, частью силлабическими виршами. Его основной предмет — утверждение „учения господня“, то-есть православия, и полемика с „еретиками“ — с католиками, с Лютером, Кальвином, Серветом, Чеховичем и Будным [1]). Знакомясь с этим трактатом, читатель, знающий биографию его автора, не может не удивиться тому противоречию, какое вопиет в делах и словах Хворостинина. Из документов по его делу ясно видно, что Хворостинин действительно уклонился в „ересь“. „Сам ты, князь Иван (говорилось в грамоте ему от царя и патриарха) во многих таких непристойных своих делах вину свою объявил“; „сам еси сказал, что образы римское письмо почитал еси с греческим письмом с образы заодин“. Своим дворовым людям он запрещал ходить в церковь, „а говорил, что молиться не для чего и воскресения мертвым не будет“. Эти слова Хворостинина были, повидимому, сочтены главным и наиболее тяжким его заблуждением. На эту тяжкую „ересь“ и был составлен ему московскими богословами тот „учительный свиток“ („о восстании мертвых — поучение от божественных писаний Ивану Хворостинину“), копия которого хранится в Российской Публичной Библиотеке с распискою Хворостинина в том, что он его слушал. „Хворостинин своею рукою“ удостоверял, что „дал на себя в том обе-

[1]) Повидимому, трактат дошел до нас не в полном виде: сохранились только части, направленные на католиков.

щание и клятву" — строго блюсти православие и в восстание мертвых верить. Собирая скудные и неопределенные намеки на существо ереси князя Ивана, мы неизбежно приходим к мысли, что он в данном случае соблазнился воззрениям и социнианских сект, в то время очень распространенных в Польше и Литве, то-есть именно теми учениями Сервета, Будного и Чеховича, которые он был готов в другое время ретиво обличать и опровергать. Именно среди социниан обращались мысли, что воскресение мертвых будет духовное, и тела в нем участия не примут, что Христос даровал только избранным вечную жизнь, которая состоит в общении со всеблаженным божеством. Так как социниане отвергали все таинства, кроме причащения и крещения, да и те понимали не по-московски, то и отношение увлеченного их „ересью" Хворостинина к кругу московского богослужения должно было быть отрицательным: он действительно мог запрещать „людям своим к церкви ходити" и по-московски молиться. Но, попав за свое вольнодумство арестантом в монастырь, он горьким опытом познал силу правила: „не ищи истинны от чужого закона" и не замедлил вернуться в московский „закон". Однако же он не считал себя (как это ни странно!) виновным в ереси и старался представить дело так, как будто бы его оклеветали его „люди" (дворовые), сам же он всегда оставался правоверным. В своем „Изложении на еретики" он говорит, что он „обличитель бых ереси их издавна", но когда

„Прострох руку мою на спасение,
На еретическое известное потребление, —
И вместо чернил быша мне слезы,
Зане окован бых того ради железы"...

Не только после окования „железами" (кандалами), но и всегда будто бы Хворостинин „уповал на Сердцевидца" и „его закона не отрицался"; только он „не обык с неученьими играти, ни обыклости нрава их стяжати", и потому потерпел от них:

„Писах на еретиков много слóгов,
Того ради приях много болезненных налогов;
Писанием моим мнози обличишася,

А на мя, аки на еретика, ополчишася...
Яко еретика, мя осудили
И злости свои на мя вооружили".

Насколько можно уразуметь намеки князя Ивана, его подвели под кару своими доносами его же слуги („зла бо быша их порода"). Он говорит:

„Но и рабы мои быша мне сопостаты,
Разрушили души моей полаты,
Крепость и ограждение отъяша
И оклеветание на мя совещаша".

Хворостинин дает понять, что он был слишком гуманен, обращался с ними „благостию" и вскормил их „хлебами своими", они же отплатили ему злом:

„Проклято рабское господ(ар)ство,
Скоро и отменно бо его коварство!
Не сыпыте злата пред свиниами,
Да не осквернят своими ногами".

И здесь, открывая пред своим читателем свою „благость" и братолюбие, Хворостинин не может воздержаться от собственной высокой оценки. В заключение своего трактата, он говорит о рабах:

„Аз бых един над ними,
Над изменники своими,
Господином им поставлен
И от бога паче их прославлен".

И потому ему удивительно, что рабам доверяют, когда они клевещут на своего „прославленного богом" господина:

„Дивно о тех, которые им верят!"

Так путано построены оправдания Хворостинина. Он не еретик, но обвинен в ереси; он просто жертва „неученых", непонимавших его правоверных умствований, и затем — клеветников рабов, не оценивших его гуманности. Но эти оправдания не уничтожают для нас ни силы официальных обвинений, основанных на сознании самого князя Ивана, ни частных отзывов о нем современников, ни той подписи кающегося еретика на „учительном свитке", какую дал „своею рукою"

князь Иван. Ясно, что его душа блуждала из веры в веру, ища истины и знания, и уже не повиновалась рабски московским традициям. Для Хворостинина они были только плодом „неучения“, и в его глазах эти „обыклости нрава“ старых московских поколений меркли пред блеском иноземной образованности и достижений освобожденной от тьмы невежества мысли. Самолюбие Хворостинина, его заносчивость и грубость подставляли его под удары недоброжелателей, им обижаемых, давали поводы к жалобам и доносам; а неустойчивость настроения, подвижность нрава и малодушие вели его к частой перемене взглядов и к легкому, едва ли искреннему, раскаянию в своих поступках. По московскому выражению, это был „непостоятельный“ человек, который всю свою жизнь мотался из стороны в сторону безо всякой надежды успокоиться и на чем-либо устояться. Он в своих виршах винил москвичей, что они „сеют землю рожью, а живут все ложью“, но, как видим, и сам он далеко не всегда жил правдою.

VI

За Хворостининым и Грамотиным, яркими представителями двух разных типов культурных „перелетов“ своего времени, можно было бы указать и другие фигуры отщепенцев от старого московского уклада, не столь заметных. Таков, например, по словам известного путешественника Олеария, „знатный богатый купец в русской Нарве“ (то-есть в Иваньгороде) Филипп. Олеарий не хочет назвать его фамилии, потому что когда Олеарий печатал свою книгу о России, этот купец был еще жив. В 1634 году немецкие путешественники посетили проездом Филиппа и беседовали с ним по душе. Филипп сказал им, между прочим, что „он никакого значения не придает иконам“, что он понимает пост по-своему, не так, как прочие русские, которые в посты едят рыбу и пьют мед и водку: „я пощусь (говорил он), если я не принимаю ничего, кроме воды и хлеба, и усердно молюсь“. Но свои взгляды „истинного христианина“ Филипп держал про себя и не обнаруживал пред соотечественниками, ибо „не имел на это при-

звания", и не желал прослыть за безумца или за еретика. Такое тихое и осторожное религиозное своемыслие было свойственно, разумеется, не одному Филиппу. В печатном служебнике 1647 года находится любопытнейший официальный намек на то, что в первой половине XVII века мелкие уклонения от старых московских обычаев (например, брадобритие) были всеобщими: „сею ересию не токмо простии, но и самодержавние объяти быша". И нельзя поэтому не верить, что людей, подобных Филиппу, было много: исключительные события смутной эпохи и наплыв иноземцев влияли на умы, создавали новую обстановку жизни, невольно сближали с новыми людьми и взглядами. По службе и торговым связям русским приходилось жить с „немцами", иногда даже в деловой зависимости от них. В таких условиях умы эмансипировались, нравы распускались, традиции и верования переставали угнетать мысль, и рождалось вольнодумство или „еретичество": люди пренебрегали храмами, иконами, постами, говением, порицали владык и попов, перенимали „немецкое" платье, привыкали брить бороды (по старому слову—„скоблить рыло"). Относя все эти явления ко влиянию религиозной протестантской пропаганды, московские охранители признали очередным и важнейшим делом борьбу с протестантством и его обличение.

Дело это началось с борьбы литературной. Московские богословы прежде всего обратили внимание на то, что в Московском государстве обращалось много церковных книг, печатанных в разных русских типографиях Речи Посполитой. Разорение, пожары и грабежи смутных лет истребили на Руси много книжного добра. Книг не хватало; московский Печатный двор, работая на семи типографских станах, не успевал удовлетворять книжные нужды. Поэтому приходилось доставать книги из-за рубежа, и власти до 1627 года тому не препятствовали. В этом же году привезена была в Москву из Литвы в значительном количестве книга львовского ученого „дидаскала" Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого „Евангелие учительное или слова на воскресные и праздничные дни". Эта книга возбудила сомнения уже на своей родине. Автор отметил о ней сам, что „гнилое слово хульного языка, полное лжи

и яда змия адского, промчалось всюду по всей земле Русской". Проникло оно и в Москву: московская цензура нашла книгу еретическою, и власти осудили ее на сожжение, „чтоб та ересь и смута в мире не была". Мало того: указано было объявить всем людям, чтобы „впредь никто никаких книг литовские печати и письменных литовских не покупали". Но не остановились и на этом: в следующем 1628 году приказано было переписать во всех церквах во всем государстве церковные „литовские" книги и отобрать их, оставив временно лишь там, где без них нельзя будет служить и „останутся церкви без пенья". Отбирали литовские книги и у частных лиц. Такими распоряжениями надеялись пресечь один из путей, которыми проникали в Москву еретические влияния.

Одновременно с мерами этого порядка, внешне-полицейскими, охранители старых устоев нашли нужным бороться с ересями по существу — богословской полемикой. Соображали вполне правильно, что в данное время из Речи Посполитой, — страны, где господствовал католицизм, — шло влияние не „римской веры", а протестантских толков, которые там расплодились. И потому полемику почти всегда направляли не против „латинян", а на „лютеры и иные еретики". Появилось не мало трактатов, направленных именно против протестантских учений. Можно даже сказать, что весь круг литературного творчества Московской Руси первой половины XVII века исчерпывался всего двумя темами: описаниями и размышлениями, посвященными смуте начала века, и затем богословской полемикой. Тому и другому предмету посвящались десятки произведений самого различного достоинства, переводных и оригинальных, компилятивных и самостоятельных. Москва стала на защиту православия с большой энергией и выставила, наряду с жалкими, мало просвещенными начетчиками, замечательных борцов.

Не будем останавливаться на общем обзоре такого рода полемических писаний. Пройдем мимо таких специальных по характеру и схоластических по приемам трактатов, как переведенное с западно-русской речи на московскую (в 1620 годах) сочинение анонима „О образех, о кресте" и проч. Не будем

тратить времени на детальное знакомство с трудами высокорожденных князей Ивана Михайловича Катырева-Ростовского и Ивана Андреевича Хворостинина. Первый дал лишенную достоинств рядовую компиляцию „На иконоборцы и на вся злые ереси", а второй — весьма замысловатый сложный трактат нравоучительного характера и в центре его „Изложение на еретики", написанное виршами с акростихом в начале. Из этого акростиха („краестиховия по буквам") узнается имя автора и заглавие труда, претенциозного и мало обстоятельного. Мы остановимся на иных деятелях в области религиозной полемики, более интересных и почтенных по личным качествам и более важных по их роли в деле укрепления религиозно-национального сознания.

Первый из них — священник Иоанн Васильевич Шевелев, известный больше под именем Ивана Наседки. В смутное время нищим „прибрел" он в Сергиев Троицкий монастырь, нашел там пищу и приют, попал под влияние знаменитого архимандрита Дионисия и стал одним из виднейших питомцев его „школы" (о ней речь будет ниже). Та деятельность Наседки, которая нас теперь интересует, полемика с протестантством, началась с того момента (1621 г.), когда Наседку отправили в Данию с царским посольством, имевшим целью сватовство царя Михаила Федоровича за одну из племянниц короля Христиана IV. Было ли возложено на отца Ивана какое-либо особое поручение, сказать трудно; но достоверно, что он не сидел сложа руки при посольстве. Во все время своего путешествия он знакомился и по книгам, и по личным наблюдениям с церковною жизнью и с учением протестантов и получил определенное понятие о нравах и церковном быте их в Дании. Это знакомство сказалось на официальном отчете Наседки. Он придал ему форму полемического сочинения („Изложение на лютеры"), которое считается одним из самых основательных в своем роде. „Изложение" в сущности — сборник. В начале его Наседка поместил перевод анонимного трактата „О образех", а затем дал ряд собственных рассуждений на все темы, какие входили в круг споров с протестантами. Не довольствуясь теоретическими — от „писаний" —

соображениями, он часто и едко пускает в ход собственные наблюдения и пишет злую сатиру на то, что ему пришлось своими глазами увидать в протестантском быту. Особой известностью пользуется его описание протестантских кирок в Копенгагене и в пригородном замке Христианборге, где его особенно возмутила одна „палата" над домовою церковью. Король Христиан IV любил постройки, для которых сам готовил проекты и чертежи. Строил он в новом стиле „ренессанса" и любил похвалиться прихотливой роскошью своих зданий. Русских послов подчивали обедом в новом Христианборгском дворце, а после обеда показали им весь дворец, еще не вполне законченный; „а делает хоромы сам король, своими замыслами, не советуясь ни с кем из мастеров". Из уважения к строителю, русские послы в своем отчете царю дали бесстрастный отзыв о дворце, сказав, между прочим, что во дворце „прошли скрозь кирку, а на ней палата, а в кирке подволока (потолок) резана по каменю золочена". И все. Но эта „кирка, а на ней палата" возмутили Наседку. О них он в своем „Изложении" написал виршами, что король „устроил двоекровную палату, долу же под нею двоеимянную ропату; и по-лютерски нарицают их две кирки, по-русски же видим их: отворены лютором во ад две дырки; горе убо устроен в полате блуда и пианства стол, долу же под ним... престол; многих же вводят в кирку ту смыслу королевску дивитися, велеумным же мужем не подобает безумию их дивитися". Конечно, попа Ивана смутили в палатах замка слишком мирские росписи и скульптура; „Златом убо и сребром многа устроена телес нагота, в них же тайноблудная вся открыта срамота". Тот же мирской характер протестантских храмов смущал Наседку: кирки всегда открыты, почему в них „лазит всякая животина"; люди слишком свободно ведут себя, во время пения мало кто стоит, все сидят, иные лежат на локтях; у Датского короля поставлено в кирках много кровавого оружия, взятого на боях: это ведется у всех немцев для их славы; у них же в кирках продают всякие товары. Такого рода бытовой материал, вводимый попом Иваном в его „Изложение", оживляет сочинение, дает ему красочность и реальность;

в авторе чувствуется человек, много видавший и думавший. И теоретическая подготовка автора не мала. Он не простой плагиатор и компилятор. Компетентные критики его „Изложения", не расположенные к казенному славословию, находят, что в своем трактате Наседка „является просвещенным пастырем русской церкви первой четверти XVII века" [1]). Он не только толково знаком с протестантским вероучением, с которым спорит, но и вообще богословски начитан. Он сведущ в ветхом и новом завете; знает толкования на него, обращавшиеся в то время в различных сборниках („маргаритах", „златоструях" и т. д.); знает творения Дионисия Ареопагита, Афанасия и Василия Великих, Иоанна Дамаскина; начитан в литературе житий и апокрифов; читал переводные светские книги, вроде Иосифа Флавия и других „премудрых" мужей. В лице отца Ивана Наседки московское богословие достигло, так сказать, своей вершины. Откуда пришло Наседке такое образование и где он приобрел такой сравнительно серьезный прием, литературный и полемический, будет показано сейчас.

VII

Если Наседке принадлежит первое место в ряду полемистов, практических борцов за веру против действительных или предполагаемых ее врагов, то среди руководителей этой борьбы и воспитателей народного сознания первенство бесспорно принадлежит замечательнейшему и оригинальнейшему человеку той эпохи, именно—Троицкому архимандриту Дионисию, которого современники его почитали в такой мере, что менее чем через 20 лет после его смерти причли к лику святых. В 1652 году имя Дионисия, умершего в 1633 году, уже значилось в святцах среди тех святых, „которым на Руси празднество сотворяют и которых на молитву призывают".

---

[1]) *Ал. Голубцов.* „Прения о вере, вызванные делом королевича Вольдемара и царевны Ирины Михайловны". М. 1891, глава III. — *Дм. Цветаев.* „Литературная борьба с протестантством в Московском государстве". М. 1887, глава III.

А „образу“ Дионисия молился уже человек, несомненно лично его знавший, именно — патриарший стольник Иван Иванович Урусов, живший в первой половине XVII века. Многие почитатели Дионисия хотели тогда иметь изображение („парсуну“ или „икону“) великого своего современника, и потому многие „изографы“ (иконописцы) собрались к его гробу писать его лицо. Один из таких портретов, обращенный Урусовым в „образ“ с серебряной ризой, дошел до нашего времени и хранится с надписью Урусова в одной из церквей г. Ржева. Такое исключительное почитание досталось архимандриту Дионисию не даром. Последующие страницы покажут, какую исключительную, можно сказать, центральную роль играл этот скромный монах в умственной жизни современного ему московского общества и как много он сделал для того, чтобы сменить косное миропонимание прежних поколений новыми, более просвещенными взглядами.

Впервые Дионисий является в документах „вдовым священником Давидом Федоровичем Зобниновским“; звали его и иначе: по месту рождения — „Ржевитином“, так как он родился во Ржеве. Молодость его прошла в гор. Старице, где его отец был старостой Ямской слободы. По этим и другим данным о его детстве и юности можно заключить, что он был крестьянского или посадского рода и стал священником на посаде потому, что изучил „грамоту“. Рано овдовев, он, по московскому обычаю, ушел в монахи, так как, по тогдашнему правилу, вдовый поп лишался права служить и обращался как бы в дьячка или пономаря. Сначала молодой инок Дионисий (он постригся около 1601—1602 г.г., лет 30 от роду) находился в Старицком монастыре, где современем стал настоятелем, „архимандритом“. А затем, вероятно, около 1607 года патриарх Гермоген вызвал его в Москву и оставил при себе для особых поручений. Этот вызов свидетельствовал о том, что к данному времени репутация Дионисия стояла уже очень высоко: при патриархе он получил значение участника в высшем руководстве церковными делами. Когда же, в 1610 г., Троице-Сергиев монастырь освободился от осады, и надобно было его привести в порядок и в прежнее достоинство, Диони-

сий был назначен Троицким архимандритом и таковым оставался до смерти. В этом сане он и получил чрезвычайную известность, даже, можно сказать, исключительную славу. Восстановление монастыря, энергичная благотворительность, патриотическая агитация для освобождения Москвы от поляков, участие в деятельности московского Печатного двора, широкое просветительное влияние на многие круги современного общества — таковы дела, прославившие Дионисия. Высокие душевные качества и редкая сила ума, сочетавшиеся в своеобычный, редкостный характер, — таковы свойства, влекшие к Дионисию все чуткие сердца и впечатлительные головы.

Дионисий был совершенно необычный для своего времени человек. Он никого не подавлял и не поражал ни властною волею, ни суровым упорством. Монах — хозяин порученных ему монастырей, монах — книгочий и любитель божественных и учительных словес, Дионисий не имел, казалось, ни охоты, ни способности властвовать и бороться. Всегда с улыбкою и доброю шуткою, с утешением и с благостыней ко всем, кто к нему ни обращался, Троицкий архимандрит всегда готов был уступить в ссоре и перетерпеть обиду и унижение. В грубой среде его современников эти свойства не вызывали сами по себе почтения и сочувствия; Дионисия, случалось, называли „дураком“ и „неученым сельским попом“ за то, что не видели в нем самоуверенной гордости и многоречивой мудрости. Почитать, любить и даже обожать доброго, веселого и смирного архимандрита начинали тогда лишь, когда узнавали его тихие внутренние достоинства, его удивительную духовную силу. Кругом себя он сеял добро и растил любовь к книжному учению. Его келья для многих бесприютных становилась родным домом; для многих, искавших знания, она была первою школою. Такие деятели XVII века, как священники Иван Наседка и Иван Неронов, „прибредя“ в нужде к Дионисию, вышли из его обители не только сытыми и устроенными, но и вдохновленными на идейную литературную и общественную работу. Писатель Симон Азарьин всею прелестью своего литературного реализма обязан был своему „благодетелю“ Дионисию, в келье которого долго жил и служил. Во всяком

очередном церковно-общественном деле середины XVII века, во всем литературном обороте той поры ясно ощутимы следы личного влияния Дионисия. Справедливо будет признать Дионисия главою и центром современного ему умственного движения, в начальной его фазе, когда только намечались главные темы, возбудившие затем многие московские умы, — о принципах книжного исправления, о значении греческой культурной традиции для Москвы, об отношении Москвы к иноверцам и т. д. Незаметный для своих некультурных сородичей, Дионисий, однако, был весьма заметен для более культурных иноземных единоверцев. Иерусалимский патриарх Феофан с особенным благоволением и уважением отнесся к Дионисию и почтил его многими отличиями, сказав ему: „назнаменах тя в велицей России посреде братии твоей, да будеши первым в старейшинстве над иноки многими по нашему благословению".

Таков образ инока, бывшего мирным поборником веры и книжного учения. Широкая общественно-политическая работа Дионисия началась с 1611 года. Падение Москвы застало Дионисия во главе Троицкого монастыря, который был разорен осадою и устраивался заново. Московский пожар в марте 1611 года оставил без крова все население Москвы и обратил его в бегство. „Всеми путми быша беглецы к монастырю", и Дионисий начал широкую благотворительную деятельность, обратив все средства еще неокрепшего монастыря на помощь гонимым и страждущим. Мягкость и доброта Дионисия не помешали ему обнаружить непреклонную твердость и энергию в этом подвиге добра, к которому он увлек всю троицкую братию. Весь 1611 и последующие годы продолжалось монастырское благотворение, и видевшие его говорят о нем с горячим восторгом. В то же время Дионисий чувствовал потребность и иного подвига. Его помыслы стремились к освобождению Москвы от внешнего врага и от внутренних смут, он мечтал „о братолюбии и о соединении мира". Об этом он посылал грамоты ко всем, от кого надеялся получить сочувствие и содействие, — и было „в тех грамотах болезнования Дионисиева о всем государстве Московском бесчисленно много".

Хорошо составленные монастырскими „писцами борзыми“ троицкие грамоты обошли все государство и читались с глубоким чувством.

Чаяния Дионисия сбылись. Страна успокоилась, классовая борьба затихла, в Москве укрепилась государственная власть. Настало время заботам об исправлении зол, причиненных смутой. Между прочим, почувствовалась необходимость снабдить церкви и книжный рынок церковными книгами: их много погибло в смуту. Как уже было сказано, пошли в ход книги „литовской“ печати (которым не особенно доверяли в отношении догматическом) и усиленно заработал московский Пе́чатный двор. Между „справщиками“ (редакторами и корректорами) этого двора естественно стал вопрос об оригиналах для типографского набора. С каких оригиналов (по тогдашнему выражению, „переводов“) делать новые издания священных и служебных текстов? Еще во времена „Стоглава“ (1550 г.) знали, что в рукописных книгах было много погрешностей, и приказывали книг „неправленых и описливых“ в церквах не держать и их немедля общим советом исправлять, а „которые писцы по городом книги пишут“, им велеть писать „с добрых переводов“. Но в то время кто же мог удостоверить, что данный текст представляет собою „добрый перевод“? Официальных изданий в те времена не существовало, и каждому предоставлялось собственным разумом доходить до определения правильности читаемого текста. Существовало убеждение, что чем древнее книга, тем правильнее ее текст, ибо он ближе, восходит к первоисточнику священного писания. Внешним же явным признаком древности служило то, что книга писана на „харатье“ (пергамене); поэтому книголюбцы книги пергаменные ценили особенно высоко и ими проверяли все прочие. Другим способом проверить правильность текста считалось сопоставление нескольких книг и сличение их разночтений. Но так как для этой цели книги подбирались случайно, а для выбора того или иного разночтения, как наиболее правильного, точного критерия не имелось, то и весь труд сличения бывал безрезультатен и бесполезен, напоминая собою решение неопределенного уравнения. По этим причинам во многих кни-

гах, выпущенных московским Печатным двором, оказались сомнительные чтения, и книги явно требовали проверки и исправления, а редакторский состав Печатного двора — изменения. Это обстоятельство хорошо было понято в Троицком монастыре, где вокруг Дионисия и под его влиянием шла работа над изучением текста церковных книг и накопилось много критических замечаний на московские печатные издания. Сообщенные в Москву, эти замечания послужили к тому, что на Печатный двор справщиками были приглашены именно троицкие монахи и попы с Дионисием во главе. Так Дионисий вступил в руководство ответственной редакционной работой. Случилось это в период междупатриаршества, в те годы (1616—1618), когда в Москве медлили избирать патриарха, ожидая для того возвращения из польского плена царского родителя Филарета Никитича, а временное управление церковью оставляли в руках ничтожного митрополита Ионы.

Вступив в дело, Дионисий внес в него нечто новое и притом такое, что представилось другим работникам радикальной новинкой. Он не желал довольствоваться прежними способами работы, направленными на исправление описок и не шедшими далее простой и мало компетентной корректуры. Он искал той принципиальной основы, на которой можно было бы построить восстановление правильного и точного текста книг в соответствии с православной догматикой и древней письменной традицией. Его исключительный ум подсказал ему, что критерием достоверности текста московских книг может быть в конце концов только текст древней *греческой* книги, должным образом проверенный, и что эта проверка должна совершаться путем критического сопоставления многих „переводов“, то-есть экземпляров одной и той же книги. Это были мысли Дионисия относительно метода работы. Объем же работы он также определял иначе, чем до него трудившиеся справщики. Те не шли далее мелких редакционных исправлений текста и простой корректуры. Дионисий же не останавливался и перед тем, чтобы исправить текст по содержанию его, если только оно казалось ему неправильным и не имеющим смысла. Он готов был даже изменить и церковный обряд, если убе-

ждался в его неканоничности. Так как Дионисий не знал греческого языка, то он естественно обращался за справками к греческим текстам не часто, а лишь в крайних случаях и не сам, а через посредство других лиц. Так как он был глубоко правоверный и в деле веры осторожный человек, то относился к изменению обряда вообще с крайней осмотрительностью. Тем не менее его взгляды и приемы были встречены на Печатном дворе и у митрополита Ионы очень враждебно и повели к тому, что Дионисий и его ученики и друзья, „старец" (то-есть монах) Арсений Глухой и поп Иван Наседка (нам уже известный) были обвинены в „ересях" и попали под суд и арест [1]). Дело тянулось с год, пока не явился в Москву из Польши Филарет Никитич. Поставленный в патриархи, он тотчас потребовал окончательного пересмотра дела. Восемь часов подряд Дионисий „стоял в ответе" перед Филаретом и бывшим в то время в Москве иерусалимским патриархом Феофаном, раскрыл перед ними свои взгляды, блестяще обнаружил свое превосходство над обвинителями и вполне доказал свою правоту. Исключительными достоинствами своего ума он поразил греческого иерарха; тот горячо поддержал его и его помощников в деле книжного исправления, а затем демонстративно засвидетельствовал Дионисию свое расположение и уважение. Посетив его монастырь, он чествовал Дионисия перед всей братией особенными похвалами и чрезвычайной наградой — белым клобуком. Очевидно, грек-патриарх чутко понял „грекофильство" Дионисия и оценил значение этого направления в дальнейшей церковной жизни Москвы.

Действительно, Дионисий был первый из людей его времени, который, в специальной сфере книжного исправления,

[1]) Нам нет нужды вдаваться в описание того, что именно повело к обвинению и аресту Дионисия; скажем только, что главной его виной было сочтено уничтожение в Служебнике двух слов „и огнем" в молитве на освящение воды (5-го января), указание на неправильность обряда погружения горящей свечи в освященную воду и исключение двух молитв, приготовительных к литургии, которыми от грехов „сам себе священник прощает" („ино к тому и детем насмех, чтобы самому себя разрешити от грехов", — замечал Арсений Глухой).

ясно высказал убеждение в необходимости учиться у греков' на их церковной традиции. Он был почитателем Максима Грека [1]), одобрял его деятельность, лично пользовался его трудами и переводами и у себя в монастыре восстановил его репутацию. После смерти Максима Грека (1556 г.), у Троицы „в дому Сергия чудотворца мало любили Максима Грека книг" и не давали их для чтения братии. Дионисий же снова пустил их в обращение наравне с избранными текстами греческих отцов церкви. Он вообще приучал братию уважать древнюю греческую богословскую письменность: „дивным сим Дионисием к морю сему великому путь очищен быть всякому чину и возрасту доходити", — говорит его биограф. Широкая личная начитанность Дионисия и тонкий его ум дали ему возможность усвоить то, чего пока не понимали другие, — превосходство греческой культуры. И если можно согласиться с А. Н. Пыпиным, что Максим Грек „явился первым посредствующим звеном между старой русской письменностью и западной научной школой", то можно с таким же основанием назвать Дионисия вторым из таких звеньев. С его времени и в его формулах деятельность московского Печатного двора постепенно дошла до Никоновой реформы, и Никон, конечно, был ярким и неумеренным последователем Дионисиевой традиции в своем неосмотрительном грекофильстве.

VIII

Но указание на „грекофильство" Дионисия можно делать лишь с тою оговоркою, что оно касалось специальной сферы книжного исправления и богословского знания. Во всем остальном Дионисий был чисто московским человеком: в его душе жили старые заветы, жила мысль о богоизбранности русского народа и господствовала забота о том, чтобы чрез исправле-

[1]) Полагаем, нет необходимости здесь объяснять просветительную деятельность на Руси этого гуманиста, вызванного на Русь с Афона для переводческой работы, оставшегося в Москве до своей смерти и принимавшего деятельное участие во всех проявлениях русской церковной жизни. См. *В. С. Иконников.* „Максим Грек" (Киев. 1915).

ние временных „нестроений“ церковных и мирских возвести московскую жизнь к ее прежнему внутреннему совершенству и чистоте. Греческое ученое руководство мыслилось лишь как средство; целью же было обновление древнего русского благочестия в его местных, народных формах, тех именно, которыми предшествовавшие поколения русских людей „богу угодиша“. Именно это национально-охранительное настроение почерпнул известный расколоучитель Иван Неронов, когда судьба свела его с Дионисием. По рассказу самого Неронова, внесенному в его биографию, он в своей молодости должен был покинуть родное село, так как перессорился там с пьяным и бесчинным причтом. Неронов за пьянство обличал „иереев“ столь круто, что даже его тесть стал против него, и Неронову пришлось ночью спасаться „из веси тоя“ в Троицкий монастырь. Там его представили Дионисию, рассказав о его добродетельных порывах против слабостей односельчан. Дионисий заинтересовался юношей и „повеле пребывати ему у себя в келии“, иначе говоря, включил его в круг своих воспитанников, которых у него всегда бывало довольно. „И живяше Иоанн (Неронов) в келии немало время с преподобным архимандритом“, пока Дионисий не убедился, что пригретый им юноша „истинен и верен есть во всем“. Тогда он послал его к патриарху Филарету с письмом, и с этого началась деятельность Неронова в духе начал, внушенных ему Дионисием. Неронов, посвященный в попы, жил сначала в своем селе, потом в с. Лыскове близ Нижнего, потом в самом Нижнем и везде являлся сторонником и деятелем церковного обновления, врагом житейской пошлости и пьяного разврата. Необыкновенная страстность натуры Неронова не поддалась воспитательному воздействию ни благодушного Дионисия, ни блиставшего придворной выдержкой попа Стефана Вонифатьевича, в кружок которого попал в Москве Неронов. Неронов не раз подвергался взысканиям, даже ссылке, вечно ссорился и шумел и в конце концов, озлобленный постоянною борьбой за свои идеалы, обратился в раскол и стал явным врагом официальной церкви. В этой фазе он, конечно, далеко отошел от пути, намеченного Дионисием, и от приемов, им

внушенных; но в основе своих взглядов он, без сомнения, был духовным сыном знаменитого архимандрита. Последний, как мы видели, сознавал культурное превосходство греков, оставаясь ревнителем древнего русского благочестия. Неронов в пылу борьбы с грекофилом Никоном отстаивал то же древнее русское благочестие, но не мог вместить в своем уме справедливого отношения к грекам. Ученик оказался уже и ограниченнее учителя, но от того не переставал быть именно его учевиком.

Из других достигших известности учеников Дионисия, кроме помянутых Ивана Наседки, Арсения Глухого, Ивана Неронова, необходимо назвать еще Симона Азарьина, пришедшего в Троицкий монастырь из знатного боярского двора князей Мстиславских и всю свою жизнь проработавшего на монастырь. Он был „строителем" (управителем) в подчиненных Троицкому провинциальных монастырях, бывал посылаем для отдельных поручений административно-хозяйственного характера, служил в должности казначея у Троицы и, наконец, окончил жизнь в звании келаря. Свои досуги он посвящал чтению и литературному творчеству. После него монастырь получил его большую библиотеку, в составе которой были и собственные произведения Азарьина. Он был пламенным почитателем Дионисия; жил при нем под одною кровлею в тесном духовном с ним общении около шести лет, а после его кончины, в сотрудничестве с Иваном Наседкой, составил его биографию.

Духовно Азарьин был всецело созданием Дионисия, и в этом отношении для нас он чрезвычайно любопытен. Он не богослов и не теоретик. По складу своих способностей он практический деятель, хозяин, администратор. Но вместе с тем он весьма начитан и обладает литературным приемом. Мало того, он пишет свои произведения не в шаблонных формах тогдашнего вычурного и многословного красноречия, не прельщается „извитием словес", а предлагает читателю простое и точное изложение темы, достойное назваться реальным. Строгий в оценках, историк В. О. Ключевский говорит об Азарьине: „Симон смотрит на обязанности биографа гораздо строже сравнительно с большинством древнерусских писателей

житий: он разборчивее в источниках и заботится не только о полноте, но и о фактической точности жизнеописания". Он старательно ищет истины, потому что, по его мысли, „бог не хощет ложными словесы прославляем быти и святым неугодно есть затейными чудесы похваляемым быти". Он строго блюдет за тем, чтобы указать читателю источник своих сведений, „да видит и судит, аще сия тако есть", и чтобы не присвоить себе чужого труда, „да не како на свой разум преложу чуж труд". Простота и ясность изложения у Азарьина сочетается с искренностью и мирным спокойствием настроения. Но в том, что касается до охраны веры и народности, он такой же неумолимый фанатик, как и Неронов. Азарьину приписывается „повесть о разорении Московского государства"; она находится в оставшихся по его кончине рукописях. Написанная пред польскою войною царя Алексея Михайловича, эта повесть обнаруживает в авторе непримиримую вражду к полякам и желание мести за польские насилия в смутное время. Обостренное чувство племенной ненависти и национальной исключительности, лежащее в основе „Повести" и обычно не свойственное мягкой натуре Азарьина, напоминает острое полемическое настроение Наседки и имеет с ним один источник — келью благодушного архимандрита Дионисия, откуда каждый из его учеников уносил заветы учителя в той форме, какую способна была воспринять его собственная натура.

IX

Таковы бызи деятели охранительного московского направления, полемисты и представители национального сознания. В лице Дионисия они сошли со старой точки зрения на Москву, как на третий Рим — в каждом моменте своего существования и в каждом проявлении своего духа безгрешный и неизменяемый. Для них московская жизнь, „испрокаженная" смутой, не была безупречной. Ее необходимо было исправить, вернуть к старым началам, пользуясь для этого не только отеческим преданием, но и богословским знанием православного Востока. В то же время ее необходимо было защитить

от возможного воздействия всяческих ересей, „латынских и люторских“, ни в чем не поступаясь пред ними и сурово им противодействуя. Такая программа не только была провозглашена в письменности, но и была в жизни усвоена властью. Высокие официальные московские сферы внимательно прислушивались к мнениям тех ученых православных греков и украинцев, в правоверии коих они не сомневались, и в то же время жестоко карали своих собственных подданных, если замечали или даже только подозревали в них „шатость в вере“ и малейшее уклонение от правил, усвоенных церковью. Тот самый Иван Неронов, который был обласкан патриархом Филаретом по рекомендательному письму Дионисия и поставлен в попы, потому что был „истинен и верен“, позднее улетел в ссылку на год в дальний северный монастырь потому, что „людей учил бес патриаршего благословения“. „За его гордость и высокую мысль“, за самостоятельность мнений, за то, что „священников лаял и еретиками называл“, он был сочтен „во исступлении ума от своего безумства“ и его решено было проучить монастырским смирением, пока не будет снова „в совершенном разуме“. Еще круче пришлось известному богослову-любителю, православнейшему царедворцу князю Семену Ивановичу Шаховскому.

Такова уж была судьба этого благочестивого князя, что он почти постоянно пребывал в опалах, ссылках и даже заточении, несмотря на преданность властям, усердие к церкви и любовь к богословским размышлениям и писаниям. То ему приходилось страдать по действовавшему тогда принципу групповой ответственности за преступления других Шаховских, хотя он с ними „в тех винах“ и не был. То страдал он за слишком частое вступление в брак — по смерти жен спешил жениться в третий и даже в четвертый раз. То, наконец, в своих богословских выступлениях, несмотря на безупречное правоверие, он совершал явные безтактности. Повидимому, причиною всех бед были особенности умственного склада князя Семена, не позволявшие ему разбираться в людях и делах с надлежащей быстротой и смыслом. Именно потому он и явил собою типичный пример того, как строго карала москов-

ская власть даже неумышленные проступки против веры и церковной политики со стороны своих собственных слуг. Опала князя Семена по вероисповедному делу заслуживает нашего внимания.

В 1644 году в Москву приехал датский королевич Вольдемар для того, чтобы вступить в брак с царевною Ириною Михайловною. В переговорах, предшествовавших этому приезду, московские дипломаты стояли на том, что королевич, приехав в Москву, примет православие. Но как сам Вольдемар, так и сопровождавший его пастор затеяли в Москве споры по этому предмету; королевич уперся и веры менять не захотел. Москва подняла на ноги всех своих богословов, в числе которых был и князь Семен, и придала прениям о вере чрезвычайно серьезный характер. Для состязаний московских книжников с пастором писались целые трактаты и наводились всевозможные справки. Верховодил делом известный нам Иван Наседка; усердствовал и князь Семен. Когда выяснилось упорство королевича, один из московских богословов, благовещенский протопоп Никита, имел беседу с Шаховским „Напал на нас узол [1])“, сказал Никита, „надобно его развязать!“ — Шаховской спросил: „Какой узол?“ — Никита пояснил: „Тот узол, что королевич креститься не хочет“. — На это Шаховской сказал: „Узол тот можно развязать — ввести королевича в церковь некрещена“. И высказав эту смелую мысль, князь Семен прибавил, что у него уже приготовлено в этом смысле „письмо“. Когда же протопоп стал просить у него этого письма, князь Семен отказал и письма не дал. Однако по доносу протопопа то письмо у него вытребовали, и в результате пострадали за свои рассуждения оба собеседника. Протопоп выбыл из числа лиц, ведших прения с пастором; а князь Семен выбыл и из Москвы. Бояре, рассмотрев его письмо [2]), нашли, что он „пристал к королевичу“ и вместе

---

[1]) „Узол“ старая форма слова „узел“.

[2]) „Письмо“ до нас дошло в виде „послания“ царю Михаилу Федоровичу. Оно пространно и витиевато, но очень осторожно и никаких ересей в себе не заключает.

с своими советниками (то-есть, протопопом) задумал обругать православную веру. Шаховской был сослан на далекое воеводство в Колу, где и оставался два года. Такая суровая кара постигла князя лишь за то, что он полагал возможным не перекрещивать королевича „в три погружения", а требовал только того, чтобы тот проклял свою „папежскую" веру и принял московский символ веры, поклонение иконам и посты.

Вероисповедный ригоризм московских властей сказался не только в данный момент в этой строгости взыскания со смирного в сущности князя Семена. Через два года после ссылки, допущенный в Москву, Шаховской за одно неосторожное воспоминание о своем злополучном письме был присужден к смертной казни. Представляясь молодому государю Алексею Михайловичу и оправдывая себя в своем деле с „письмом", князь Семен сказал царю, что „он то все делал, исполняя повеленье блаженные памяти отца его государева". Эти слова, конечно, были неосторожны: они как бы перелагали ответственность за „еретическое" мнение на покойного государя. Шаховского велено было допросить, точно ли так было дело. Он сознался, что выразился не точно и что „письмо о том написал собою", а не по царскому веленью. На этом основании его дело возобновили и снова обвинили его в „еретичестве и великом воровстве". Королевича Вольдемара уже давно не было в Москве и о сватовстве его стали забывать, а князя Семена „бояре приговорили было сжечь" за то, что он „пристал к королевичу". 4 января 1647 года на площади перед Посольским приказом в Кремле Шаховскому прочли его смертный приговор и тут же объявили о замене, по государеву милосердию, смертной казни ссылкою в Сольвычегодск.

X

Так решительно и круто оберегала официальная Москва неприкосновенность исконных устоев московской жизни. А между тем сама жизнь все дальше и дальше уходила от этих устоев. В середине XVII века, уже в первые годы царствования Алексея Михайловича, вторжение иноземного элемента в русскую жизнь сделало весьма заметные успехи. Пока в области идей и веры

шли горячие споры и всячески укреплялась национально-охранительная политика, в области торгово-промышленной и военно-технической исподволь совершался настоящий переворот. Московская торговля попадала окончательно в руки иностранного капитала. Иностранный предприниматель готов был захватить в свои руки обработку и на месте русского сырья. Московское правительство все больше и больше привыкало делать заказы и закупки за границей через своих агентов иностранцев. На московскую службу массами принимались люди разных наций — военные, врачи, техники. Москва наполнялась иноземцами, покупавшими себе дома в московских центральных кварталах. Во всех крупных городах наблюдалось то же самое. Служилые „немцы“ получали за службу поместья в разных уездах и садились на землю, забирая в свое распоряжение крестьянский труд. Московские люди, далекие от всяких идеологических соображений, охраняя свои обывательские интересы, должны были так или иначе почувствовать на себе практические последствия вторжения иноземщины в их быт. Конечно, многие из них смотрели на дело просто — старались извлечь из новой обстановки возможную выгоду. Они сближались с „немцами“ для того, чтобы с них заработать: поставляли им товары, нанимались к ним на службу торговыми агентами или просто прислугою. Для таких не существовало ни вероисповедного, ни культурного вопроса. Но иногда (и чем дальше, тем острее) вставал вопрос шкурный. Общение с иноземцами в области торга и промысла приводило в общем к торжеству иностранного капитала и предприимчивости и разоряло русских контрагентов и конкурентов. Общение же в сфере служебной, где иностранец являлся инструктором и командиром, обижало и раздражало самолюбие. Еще ранее того кризиса, какой обнаружился в московской социальной жизни в первые годы царя Алексея, вопрос об иноземцах был уже поднят самыми различными слоями московского общества и притом совершенно независимо от высших церковно-охранительных кругов.

Ранее других заговорил московский торговый класс. Он очень рано, можно сказать, тотчас после смуты, стал показы-

вать Московскому правительству свое недовольство иностранной торговой конкурренцией. Так в 1620 году московские „гости“ (купцы высшего разряда) заявляли, что русским купцам равняться с английскими нельзя, что у англичан „с нашими ни в чем не сойдется“, ибо „англичане люди сильные и богатые“. „Сильны“ они были теми привилегиями и льготами, которыми владели еще с XVI века благодаря милостям московского правительства и подкупу влиятельных дьяков Посольского приказа. А „богаты“ они были потому, что работали организованным компанейским капиталом и располагали бо́льшим опытом и знанием международного рынка. Но как раз в эти 20-ые годы XVII века английская торговля в Москве стала ослабевать. и англичане уступили первенство голландцам, которые начали посылать в Архангельск в десять раз большее число кораблей, чем англичане. Понятно, что и недовольство русского купечества перенеслось с англичан на голландцев. Особенно бросались в глаза хлебные операции голландцев в Московии. Первенствуя на хлебном рынке всей Европы, голландцы расчитывали сделать Россию своей главной поставщицей и снабжать русским хлебом все страны Западной Европы. Они не только скупали, где могли, гласно русский хлеб, но и вывозили его тайно. Это приходилось им делать потому, что отпуск хлеба из Архангельска иноземцам был превращен в царскую монополию, которую им выгодно было обходить. Жалуясь на торговые плутни иноземцев и в особенности голландцев, русские люди указывали, что они покупают хлеб не только у казны, но скупают его по мелочам у частных лиц: посылают своих приказчиков и русских агентов для такой скупки и дают ссуду русским купцам, чтобы они для них приобретали зерно, ссыпали его по подворьям и затем отдавали на корабли. На Вологде в одном 1629 году таможенные власти открыли 11 таких незаконных складов, устроенных для иноземцев по монастырским подворьям и частным дворам. Но так как хлебные операции нормировались самою казною в ее видах, то протестовать против них русскому торговому люду не приходилось. Он зато протестовал по другим статьям иноземного торга. В 1627 году было предста-

влено царю первое (из известных нам) челобитье московского купечества на торговых иноземцев. „Гости и торговые люди москвичи и казанцы и ярославцы и нижегородцы и костромичи и вологжане и всех государевых городов“ били челом, чтобы „те барабанские и галанские и амбарские [1]) немцы, кроме аглинских гостей, по-прежнему дале Архангельского города и Колмогор в государеву вотчину не ездили и дворов бы своих на Руси не ставили и на Русском берегу у Студеного моря и в Сибирь промыслов своих по-прежнему не отпущали“. Мотивы для такой просьбы излагались обстоятельно. Вкратце они таковы. После смуты („от Московского разоренья“) торговые иностранцы проникли внутрь Московского государства; в городах стали покупать „у посадских людей тяглую землю“ и на ней строят свои дворы; держат в них свои товары, минуя официальные склады (гостиные дворы) и не „доявливая“ всех товаров в таможнях; торгуют в этих дворах в розницу, чем у русских торговцев „торги отняли“: „ныне те немцы на Вологде и в Ярославле и на Москве сидят по амбарам и по лавкам и продают всякие товары врозь“. Кроме того, немцы скупают в устьях Двины русскую соль и возят ее на своих судах в Московский центр, наживаясь на ней и отнимая „промыслы“ у русских. Русскими товарами, скупленными на Руси, они начинают торг между собою уже в Архангельске, а „в таможне записывают те товары в проезд“ (то-есть на вывоз), и, таким образом, их торговые сделки на русской территории избегают законного обложения и „в том государева пошлина пропадает“. Далее: пользуясь тем, что за немцами правительством закреплены рыбные ловли „у Студеного моря“, немцы завели оттуда тайный вывоз хлеба. В устье рек входят иностранные корабли, будто „на удьбу и на сальную добычу“ (то-есть для рыбного лова и добычи ворвани), а на самом деле в те корабли насыпают „хлеб всякой — рожь и конопли и горох“ и увозят за границу, и от того становится на всем севере „хлебная дороговь“ и „все Поморские места помирают голодом“. Такие подробности воссоздают перед

[1]) То-есть, Брабантские, Голландские и Гамбургские.

нами картину широкого развития торговых операций иноземцев на Руси, от которых, по мнению русских купцов, им „стала скудость великая". Но этими подробностями дело не ограничивалось. Русским торговцам казалось удивительной и непозволительной та организованность („меж себя заговор"), какая существовала среди немецких купцов. Они ловко „вызнавали цену" всякому русскому товару, извещали свою родину о состоянии московского рынка, получали оттуда „грамотки" с инструкциями, и так как своевременно и точно „про русские товары у них ставитца ведомо, почему какой товар на Руси купят", то они „по грамоткам у нас и закупают заговором русские товары". Конечно, планомерная и организованная закупка отдавала в руки иноземцев наиболее нужный им товар по наиболее выгодной для них цене, а русские купцы „от тех иноземцев стали без промыслу и многие торговые люди от своих промыслов отбыли и оттого оскудели и одолжали великими долги". В виду всех этих обстоятельств русские гости и торговые люди просили правительство не пускать иностранцев на внутренние московские рынки и пресечь на северных пристанищах их злоупотребления. Раньше, говорили они, иноземных торговцев далее гаваней „не пущивали, и в то время государевы пошлины збирали, а нам, холопам и сиротам вашим, были торги пространные, и в те лета нам ваши государские службы служить было радеючи, а не плачючи".

Такого же рода челобитья, каждый раз с более и более обстоятельным докладом о злоупотреблениях „немцев", подавались много раз, между прочим, в 1642, 1646 и 1648 годах. Русские торговые люди упорно и настоятельно просили не пускать иностранных купцов внутрь страны и ликвидировать их „дворы" в городах, где они „сидели" с своими товарами, торговали „врознь" и скупали русский товар, „закабаля и задолжа многих бедных и должных русских людей". Такие просьбы и жалобы вели за собой целые расследования со стороны московских властей. Собирались справки о прошлых временах, каковы льготы и кому именно из торговых иностранцев и когда были даны. От челобитчиков требовались соображения о том, каким порядком думали бы сами они достичь

ликвидации иноземного торга в московских городах: „и от того с немецкими государствы у Московского государства нелюбья не будет ли? а што у немец на русских люди есть деньги, и тех долгов... вскоре... доправить будет не мочно, и те долги немцам кому платить? да у немец же на Москве и в городех устроены дворы, и только на те немецкие дворы купцов не будет, и за те дворы немцам кому же платить деньги?". На эти тревожные вопросы челобитчики отвечали, что они „с немецкими государствы нелюбья не чают", так как для немцев важно торговать с Русью хотя бы и у одного Архангельского города, что плату за отчуждаемые у немцев дворы, а равно и долги за русских должников „заплатят гости и торговые люди миром", и что буде на какой-либо долг русского у немцев не окажется документа, то в таком случае „сочтутся по душам". В результате правительство сочло нужным пойти навстречу желаниям московского купечества и прибегло к некоторым ограничительным мерам. Оно твердо стало на том, что „на Москве и в городех всем иноземцом никаких товаров в розн не продавать, а будет учнут в розн продавать, и те товары имать на великого государя"; „и по ярмонкам им ни в которые городы с товары своими и с деньгами не ездить и прикащиков не посылать". Таким образом, продажа в розницу и скупка по мелочам иностранцам воспрещалась; за ними оставлялась лишь оптовая торговля. Воспрещалось торговать „меж себя" на русской территории и „иноземцу с иноземцом", а можно им торговать было только с русскими купецкими людьми. Но исполнить просьбу последних о том, чтобы не пускать иноземных купцов внутрь страны, правительство не могло как по формальным основаниям, так и по практическим соображениям. С одной стороны, оно было связано договорами (например, Тавзинским и Столбовским со шведами), по которым выговорено было право иноземным купцам торговать не только на пристанях и в пограничных городах, но и на некоторых внутренних рынках Московского государства. А во-вторых, само правительство вело с иностранцами столь крупные и сложные торговые обороты, что в своих же интересах было далеко от мысли удалять их от Москвы и других

торговых центров. Если к этому добавить, что московская администрация не имела привычки педантично исполнять веления власти, то можно понять, что иноземные купцы и после всех запрещений продолжали свою тактику- оставались внутри государства, занимались скупкой русского сырья, торговали между собою, обходя таможенный досмотр, и продавали свои товары „в рознь". Домогательства московских торговых людей, таким образом, не достигали цели.

Этим объясняется тот ход со стороны гостей и купцов, что они обратились за помощью и содействием к другим группам московского населения. Одновременно с московским купечеством, а иногда и совместно с ним, против иноземцев ополчаются служилые люди и духовенство. На земском соборе 1648—1649 гг. представители средних классов, дворяне и посадские люди (главным образом, торговые), вошли, повидимому, в соглашение между собою и действовали постоянно „заодин". Челобитья служилых поддерживали тяглые люди, челобитья тяглых людей поддерживали служилые,—и в результате правительство, встречаясь с чисто классовым интересом, имело против себя весь „мир", „всю землю". Так и в вопросе об удалении иностранных купцов в Архангельск просителями явились не одни „гости и торговые люди", а на первом месте „стольники и стряпчие, и дворяне московские, и городовые дворяне, и дети боярские" (то-есть, все „чины" или разряды служилого класса). При обсуждении частностей этого дела правительство „допрашивало" не одних специалистов торгового дела, но и людей дворянских „чинов", которые и давали свои отзывы вместе с купцами. Но кроме этого организованного содействия, проявлявшегося в приличных формах, служилая масса выступала иногда против „немцев", как грубая стихийная сила. В те же месяцы, когда обсуждали иноземцы вопрос на земском соборе, в московских войсках происходило движение против немецких командиров. Шведский резидент в Москве Поммеренинг доносил в Швецию, что 2000 московских дворянских рейтаров никак не хотят позволить командовать собою голландским или вообще иноземным офицерам, которых они называют некрещеными; и правитель-

ство из них самих подучивает 200 человек, чтобы они потом могли обучать прочих и командовать ими. К выступлениям против „немцев“ служилого класса присоединялись и выступления духовенства. До нас дошел рассказ о том, будто бы патриарх Никон в начале своего патриаршества воздвиг гонение на немцев за то, что они в Москве носили русское платье. Случилось это потому, что, когда в городе происходил однажды большой крестный ход с участием патриарха, и Никон благословлял стоявший кругом народ, то немцы, бывшие среди русских, не крестились и не кланялись патриарху, как это делал православный народ. Никон рассердился и настоял на том, чтобы впредь запретить иноземцам носить русское платье. „Теперь поэтому (говорит известный нам Олеарий) все иностранцы, каких бы земель они ни были, должны ходить одетыми в костюмы своих стран“. Не оспаривая вероятности этого рассказа, можем однако заметить, что вражду к „немцам“, жившим в Москве, Никон унаследовал от своего предшественника патриарха Иосифа. Именно еще при Иосифе начались открытые выступления московского духовенства против сожительства с иноземцами, и сам Иосиф, вместе с некоторыми боярами, хотел выжить из Москвы не только торговых иноземцев, но также и иностранных офицеров, живших в самой столице. Натиски на правительство отдельных лиц в этом направлении не удавались, однако, до того времени, пока за дело не взялись целые организации из церковной среды. Именно по почину значительных групп московского духовенства начались ограничения иностранцев в правах их жительства в Москве. В начале 1643 года около десятка московских причтов района Мясницкой и Покровки подали царю челобитье о том, что „в их де приходех немцы на своих дворех близко церквей поставили ропаты [1]), и русских людей немцы у себя во дворех держат, и всякое осквернение русским людем от тех немец бывает... и от тех де немец приходы их пустеют“. А потому причты просили, чтобы „государь их пожаловал, велел с тех дворов немец сослать“ и впредь не велел

[1]) Ропаты — иноверческие храмы.

„в их приходах немцам дворов и дворовых мест покупати". Государь удовлетворил это челобитье не вполне: немцев не сослал, но указал „ропаты, которые у немец поставлены на дворех близко русских церквей, сломать" и по всей Москве „дворов и дворовых мест немцам и немкам вдовам у русских людей не покупать". Но лет через десять московское население добилось и того, чего теперь не добились причты, именно полного выселения „немецв" за пределы московской столицы. Поводом для этой меры послужили большие пожары, опустошившие Москву в 1652 году. После них, в связи с вопросом о застройке и регулировке погоревших кварталов, поднят был вопрос и об отводе для иностранцев особого места для стройки за пределами Москвы вне ее „слобод" и „улиц". С осени 1652 года начали „строить" знаменитую „новую иноземскую слободу за Покровскими воротами за Земляным городом подле Яузы-реки", то-есть, „роздали в той Немецкой слободе под дворы земли, размеря против наказу". С этого времени и образовался под Москвою тот иноземный поселок, культурное влияние которого на Москву оказалось, против ожиданий московских охранителей, гораздо сильнее простого сожительства иноземцев с москвичами в московских улицах.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вторая половина XVII века

I

Рассказанные выше события из области отношений Москвы к иноземцам развивались одновременно с другими процессами большой важности во внутренней жизни московского общества. Смута начала XVII века вызвала самодеятельность тех общественных групп, которые в XVI веке, до смуты, представляли собою пассивный материал в руках вотчинной московской власти. Необходимость самообороны приучила податные общины в городах и северных волостях к политической деятельности. Они не только сами, каждая в отдельности, обратились в военные организации, но и съумели устроить крупные союзы городов и волостей для борьбы с своими племенными и социальными врагами. Их податное устройство, с привычными вековыми формами общения и круговой поруки, облегчало для них переход к более сложным выступлениям, а городские укрепления давали им известную стойкость и силу. Раздавить городской „мир“ простым воинским налетом было невозможно и рассеять сплоченных постоянным соседством людей было не легко. Гораздо легче это можно было сделать с уездными „дворянами и детьми боярскими“ — тем служилым людом, который сидел рассеянно, в одиночку, по своим поместьям или вотчинам и собирался в одну „сотню“ или в один „город“ лишь по повесткам от правительства. Появление в уезде вражеского (литовского или казачьего) отряда заставляло дворян и детей боярских или разбегаться или сдаваться врагу. Бежали они всего чаще в города, за их кре-

постную ограду, и там примыкали к городскому „миру“. От него получали они защиту и хлеб насущный, а ему давали боевое руководство, иногда же и административный опыт. Не имея в условиях сословного своего быта достаточной почвы для классовой организации, дворяне приучались к ней на примере горожан и крестьян, с которыми сводила их судьба в минуты государственной „разрухи“. Союз дворянства с городами, таким путем образовавшийся в 1612 году, оказался в силах освободить страну от врагов внешних и восстановить в ней внутренний порядок.

Впечатления и опыт смутных лет не были забыты после успокоения страны и царского избрания. Царская власть, восстановленная в 1613 году, не была по существу своему старой патриархально-вотчинною властью XVI века. Она правила страною с помощью представительных собраний, „соборов“, на которые призывались люди служилого и податного сословий. На соборах представители и той и другой среды одинаково приучались к разумению государственной обстановки, к определению и защите своих сословнык интересов, к организованным выступлениям. Практика соборов и старый московский обычай давали законные способы для таких выступлений. Та или иная сословная группа в течение соборной сессии находила случай подать на государево имя „сказку“ (доклад) и в этой „сказке“ излагала свои пожелания в форме челобитья, удовлетворить которое было в государевой воле. И вне соборов составлялись такого рода челобитья от людей различных категорий. Выше нами подробно говорилось о челобитьях московских купцов, направленных против иноземного торга; известно не мало подобных коллективных, „мирских“ челобитий и по другим поводам. Все они показывали, что приобретенная в смутные годы активность не была утрачена населением, что оно сознательно относилось к окружающей его политической действительности и пробовало на нее влиять. К концу царствования Михаила Федоровича практика коллективных обращений к власти установилась твердо и вместе с тем выяснилось, что правительство не в силах удовлетворить все пожелания сословных групп. Здесь нет нужды изъ-

яснять причины этого явления; достаточно только указать, что, не получая желательных ответов на свои домогательства, как служилые, так и тяглые слои населения выказывали признаки неудовлетворенности и неудовольствия. Эти признаки в середине XVII века стали нарастать с большой быстротой, и внимательные современники поняли, что дело может притти к грозной развязке. Шведские дипломаты, бывшие в Москве в последнее десятилетие царствования Михаила Федоровича, доносили своему правительству, что московский „государственный строй непрочен, и переворот в ближайшем будущем неизбежен", что в Москве скоро „произойдет общее восстание". И сами московские люди поговаривали, что у них стала „во всем скорбь", „смятенье стало великое". Тяжелое экономическое положение, господство иноземного капитала на рынке, тяжесть податей, разброд трудового населения из городских общин и с помещичьей пашни, изнурительные службы — все это раздражало население, а неумение власти облегчить тяготу жизни создавало общую уверенность, что власть не хочет помочь людям в их бедах, под влиянием корыстных бояр, почему москвичи и ожидали, что боярам „от земли быть побитым".

Перемена на московском престоле, происшедшая в 1645 г., ускорила кризис. С воцарением Алексея Михайловича пришли к власти новые люди, а в населении зароились новые надежды. Но и новые люди не принесли с собою улучшений. Тогда в государстве произошел ряд безпорядков. В 1648 году волна мятежей прокатилась от Сольвычегодска и Устюга Великого до Курска и Чугуева. А в самой Москве в июне 1648 года произошел бунт, последствия которого позволяют придать ему значение революции. Начала бунт в Москве чернь, помогли ей стрельцы, поддержали движение дворяне, и в результате правительство капитулировало. По желанию населения, оно предприняло общий пересмотр действовавшего законодательства с явною тенденцией к его демократизации — „чтобы Московского государства всяких чинов людем от большего и до меньшего чину суд и росправа была во всяких делех всем ровна". Эту тенденцию горячо осуждал патриарх Никон, не-

годуя на то, что по новому закону, выработанному в Уложении 1648—1649 гг., ему, патриарху, суд один (равный) со стрельцом (низшим служилым человеком) и с мужиком (низшим тяглым человеком). Эту же тенденцию отмечали и шведы, бывшие осенью 1648 года в Москве. Они доносили из Москвы в Швецию, что „здесь работают прилежно над тем, чтобы простолюдины и прочие удовлетворены были хорошими законами и свободою". Однако, говоря о демократизации, надобно помнить, что для Москвы того времени этот термин имеет свой условный смысл. От движения 1648 года выиграли не общественные низы в нашем смысле слова, не крестьянство на владельческих землях и не холопы во владельческих дворах, словом, не та крепостная масса, на труде которой был тогда основан частно-хозяйственный строй. Ее не только оставили в прежних условиях закабаления, но подвергли еще более строгому надзору и более точной регистрации. Выиграли от народных волнений те средние слои общества, которые находились между общественной вершиной, боярством и высшим духовенством, с одной стороны, и крепостною массой, с другой. Эти средние слои состояли из поместного дворянства. торговых людей и горожан („посадских людей"), союзом которых в 1612 году была побеждена смута, а в 1648 году было запугано правительство. Политическая победа этих общественных групп отразилась в Уложении 1648—1649 гг. целым рядом законоположений, создавших новое устройство городов, укрепивших право помещиков на труд крестьян, упразднивших судебные льготы духовенства и тем положивших начало равноправию середины московского общества с его аристократическим верхом.

Это был знаменательный момент во внутренней истории Москвы. В смутные дни московского бунта 1648 г. и в следующие за бунтом недели значительно обострилось политическое сознание дворянской массы. Дворяне, собравшиеся тогда по разным поводам в значительном количестве в Москву, вышли из обычного повиновения власти и заговорили с правительством не в прежнем тоне челобитий, а иным языком, предъявив ему свои пожелания в форме ультимативной. Слу-

чилось это впервые 10 июня 1648 г., и с тех пор в среде дворянства не раз слышатся оппозиционные речи и звучат ультимативные ноты. Дворянство сознало свое классовое единство и ощутило свой удельный вес. В равной мере то же наблюдалось и в торгово-промышленных группах населения. Эти группы усиленно добиваются своих целей, стойко защищают свои интересы. Борьба за городской рынок и промысел с чуждыми городу общественными элементами, стремление прикрепить к городу все его податное население, чтобы никто не уклонялся от податей, желание выжить иностранцев с внутренних московских рынков — все это вызывает чрезвычайную энергию и настойчивость торговых и посадских людей, и в конце концов они торжествуют победу, являя пред зрителем все черты сознательной классовой работы. С этих пор можно говорить об общественной жизни в Московском государстве. Со времени революционных потрясений 1648 года правительство перестает всецело руководить жизнью подчиненного ему общества и представлять собою его интересы. Оно даже остерегается своих подданных и в первых припадках революционных страхов ищет возможности создать себе охрану из чужестранцев. Царь Алексей в исходе 1648 г. думал образовать под верховным начальством своего тестя И. Д. Милославского, который „очень полагается на голландцев", и под командой голландского полковника Букгофена сильный отряд „лейб-гвардии" для личной охраны царя и его семьи. Слухи об этом шли в Москве всю зиму 1648 — 1649 гг. В конце концов отряд Букгофена образовался не из иноземцев, а из „дворянских рейтаров" и вскоре же проявил себя недостатком дисциплины, не пожелав подчиниться иноземным офицерам [1]). Ненадежность такой дворянской охраны повела царя Алексея к образованию особо подобранных по личному составу надежных отрядов „надворных стрельцов" и „надворной пехоты", которые и охраняли московский дворец, пользуясь особыми милостями царя.

---

[1]) Об этом говорилось выше. О заботах царя Алексея относительно охранных войск см. любопытные замечания А. М. Заозерского в его труде „Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве" (Спб. 1917, стр. 334 и сл.).

II

Близкое знакомство с ходом Московской жизни в описываемое время позволяет представить себе всю силу и глубину душевных потрясений, пережитых московским обществом. По современному выражению, тогда „мир весь качался“. Вспомним, что за революционными вспышками и острой сословной борьбой первых лет царя Алексея последовала церковная распря свержение Никона и вызванный им раскол, а затем разразился Разинский бунт. Общественная жизнь получила столь бурный характер, что только слишком косные умы могли оставаться в спокойном равновесии. Жизнь ставила длинный ряд теоретических вопросов и практических задач в самых разнородных сферах правительственной и частной деятельности. Для ответов на эти вопросы, для решения этих задач приходилось обращаться к самым разнообразным авторитетам, искать самых разнообразных средств. Прошло то время,— еще очень недалекое,— когда казалось возможным правительственными мерами внушать веру в воскресение мертвых и бессмертие души, как это было с князем Хворостининым, или приговаривать к смерти за малейшую самостоятельность мнения, как это случилось с князем Шаховским. В новой обстановке сам царь Алексей считал необходимым поддерживать свободу религиозного чувства мирских людей, не желавших через меру поститься и молиться, и соглашался с ними, что церковная власть „никого силою не заставит богу веровать“. Старая исключительность была забыта, старые авторитеты померкли. Правительство без колебаний обращалось за руководством на сторону: в церковных делах к греческому Востоку, за техническими средствами на Запад. Отдельные лица с большой свободою определяли свою „ориентацию“ по влечению своего ума и вкусов. Наблюдатель изумлен пестротою культурных типов, как бы внезапно появляющихся в его кругозоре из недр еще недавно сонного московского общества. Ознакомясь с некоторыми из них, он видит, что общею их чертою надо признать именно ту свободу самоопределения,

которой недоставало поколению их отцов. Отцы боялись высказываться даже в интимных письмах, даже в автобиографических записках. Князь Семен Шаховской, например, после того, как „дошел до смертые вины", написал свое жизнеописание с такою осторожностью, что из него невозможно узнать ничего, кроме его „служеб" и ссылок. Он рассказал о себе лишь то, чего нельзя было вообще скрыть. Следующее поколение не только свободнее говорит и пишет, но и действует свободнее. Ниже мы увидим, как открыто и резко Ордин-Нащокин излагал царю Алексею свои взгляды; увидим, как свободно проявляли свои вкусы и мысли другие деятели. Совершилось то, что можно назвать эмансипацией личности в московской жизни. Конечно, это была лишь первая ступень эмансипации, не безусловная свобода совести и мысли, а лишь то, что выше мы назвали свободою самоопределения. Чтобы понять это, дадим несколько конкретных образцов, посмотрим на некоторые характерные лица данного момента.

Остановимся в первую очередь на друзьях царя Алексея — Ртищеве и Ордине-Нащокине. После того, что уже было о них писано [1]), нет необходимости рассказывать подробно их биографии. Для нашей цели достаточно восстановить характерные черты их духовного облика: они всего лучше могут служить „знамением" своего времени.

Федор Михайлович Ртищев был почти ровесником царя Алексея и принадлежал к числу его „комнатных" (самых приближенных) слуг. Он по своей придворной должности был неразлучен с государем, сопровождая его даже в походах, и потому имел большой вес и вияние в деловых московских сферах. Но он не стремился использовать это влияние для личной карьеры или корысти. Его интересы были иные: Рти-

[1]) См. *Ключевский*, „Курс русской истории", ч. III, лекции 56 и 57. — *И. П. Козловский*, „Ѳ. М. Ртищев" (Киев, 1906). — *Н. Н. Кашкин*, „Родословные разведки", т. I, 1912, стр. 402 — 449 (Подробная биография Ф. М. Ртищева). — *Е. А. Лихач*, „Ближний боярин А. Л. Ордин-Нащокин" (СПб. 1904; оттиск из „Русск. Биографич. Словаря"). — *В. С. Иконников* — статья об Ордине-Нащокине в „Русской Старине", 1883, X — XI. Подробные библиографические указатели у Кашкина и Лихача.

щев весь отдался влечению своей души к добру и служил ему так, как его понимал. Для него добром было поклонение богу в духе и истине, по слову евангельскому, и он искал истины в христианском просвещении, всячески содействуя укреплению в Москве богословской науки и водворению ученых богословов. Не отрицая форм старой московской обрядности, Ртищев горячо сочувствовал идее церковного обновления в деятельности как частного Ванифантьевского кружка, так и в официальной реформе Никона. Он являлся другом и почитателем тех образованных украинцев, которые приезжали в Москву по царскому вызову и личному почину и всячески старался о лучшем их устройстве и обеспечении. Ему приписывали основание целого общежития малороссийских ученых монахов в „иноземском“ Андреевском монастыре под Москвою. Все церковные руководящие круги в Московском государстве и на Украйне — одинаково великоруссы, малоруссы и греки — любили Ртищева и почитали его за ревнителя просвещения, друга и покровителя ученых. Если ум Ртищева питался беседами „со мужи мудрыми и божественного писания изящными“, то сердце его всегда было подвижно на благотворение бедным и больным, в чем Ртищев тоже видел „дух и истину“ веры. Современники, давшие Ртищеву прозвище „милостивого мужа“, с удивлением и восхищением говорили о его необыкновенной доброте и подвигах братолюбия. Не похваляясь своими добрыми делами, даже иногда в ущерб своему покою и здоровью, Ртищев спешил на помощь не только своим сородичам, но и иноземцам, подбирая на театре войны даже вражеских раненых и опекая их вместе с московскими воинами.

Просветительная и благотворительная деятельность Ртищева отличалась одним любопытным свойством: она не ограничивалась узкой сферой личной жизни и частных отношений а всегда стремилась превратиться в общественное дело. Ища поучений у киевских ученых, вызванных в Москву, Ртищев не просто вел с ними знакомство, а организовал их в учительное братство в „иноземском“ Андреевском монастыре и обратил это братство в общественный просветительный центр. Благотворя отдельным лицам, Ртищев не ограничивался про-

стыми подачками, но устраивал больницы, богадельни и дома призрения, где давал временный или постоянный приют больным и слабым, тратя на это свои личные средства и суммы, доверенные ему царицею Марьей Ильиничной. Одно из подобных учреждений Ртищева пережило его самого и существовало при Петре Великом под названием „больницы Федора Ртищева". Благотворительность „милостивого мужа" послужила образцом для правительственных начинаний; она привила сознанию москвичей мысль о необходимости организованного благотворения, и с 1680-х годов эта мысль была усвоена Московской властью. Такими-то оригинальными для своей эпохи способами Ртищев принимал участие в направлении общественной жизни Москвы, и в этом заключался секрет широкой популярности Ртищева и его морального влияния на современников.

Несмотря на то, что Ртищев не стоял в первых рядах московской администрации, его знали все, к нему обращались по самым разнообразным делам, ему приписывали почин в крупнейших мероприятиях того времени, в его доме сходились для обсуждения жгучих вопросов текущей минуты. И Ртищев одинаково был близок и дорог как ревнителям московской старины, так и новаторам. С ним интимно беседовал патриарх Никон, считавший Ртищева своим другом; и у него же в дому „много шумел" с еретиками-никонианами о вере и законе знаменитый Аввакум, для которого Ртищев был одним из приятнейших милостивцев („старый наш дружище Федор Ртищев", как выражался Аввакум). Ко Ртищеву обращались, как к другу и ходатаю, приезжие украинцы и греки; к нему же прибегал и известный Крижанич с изложением своих взглядов и теорий. Словом, личность Ртищева манила к себе людей решительно всех направлений. Конечно, знатность и влиятельность Ртищева играла при этом не малую роль; но главным притяжением служила бесконечная его доброта, душевная чуткость, широта понимания и та объективность, которая была плодом духовной самобытности Ртищева. В оригинальной личности его, чуждой партий и борьбы, ясной по религиозной основе дел и помышлений, скромной и в то же

время независимой и чуждой искательства, современники впервые видели благородство свободного духа и красоту сознательного добра. Не даром вскоре же по кончине Ртищева составлена была его биография в форме „жития", в котором „милостивому мужу Федору Ртищеву" придан был ореол святости. В таком способе почитания свойств и заслуг Ртищев уподоблен был известному нам архимандриту Дионисию, „житие" которого родилось также немедля после его кончины. Оба эти деятеля XVII века и на самом деле походили друг на друга исключительною моральною силою. Но гениальный монах действовал в предрассветных сумерках московской культурной жизни, а гуманный вельможа жил на полном рассвете этой жизни, и потому Ртищева более, чем Дионисия, знали как современники, так и потомки.

Современник Ртищева, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин являлся человеком совсем иного склада. Общею у этих двух лиц была только их внутренняя порядочность. Во всем же остальном их было можно противопоставить друг другу. Для Ртищева выступление на практическом государственном поприще составляло как бы уклонение от обычной его жизни в придворном кругу и в среде его ученых друзей. Ордин-Нащокин, напротив, весь уходил в администрацию и дипломатию, не оставляя времени для умствования, ни даже для простого отдыха. В непрерывном кипении приказного труда проводил он свою жизнь, то заседая в Посольском приказе, то действуя в посольствах, то находясь на воеводстве. И когда непосильный труд надломил его здоровье и окончательно испортил его характер, он ушел на отдых в монастырь в своем родном захолустьи.

Происходил Афанасий Лаврентьевич из псковских служилых людей. Кругом Пскова, в „губах" псковских пригородов, Ордины-Нащокины сидели еще в XVI веке многочисленным родовым гнездом. Хоть и вели они свой род от тверского боярина Нащоки, перешедшего из Твери в Москву при Семене Гордом, однако „захудали", в боярстве не удержались и канули на низы московского провинциального дворянства, основавшись на поместьях кругом Пскова, Опочки и Острова.

Дед Афанасия Лаврентьевича — Денис (по прозвищу Воин) Гаврилович владел значительным количеством деревень и пустошей и при Грозном ходил в головах у своей братьи „псковских помещиков“ в походах на Литву. Отец же Афанасия ничем не был заметен, и сам Афанасий начал службу самым ординарным порядком в числе рядовых дворян. В первый раз он упомянут в известных нам документах XVII века в свите посольства, посланного для регулирования границы со Швецией в 1642 году. Повидимому, назначение Нащокина в штат пограничной разграничительной коллегии состоялось вследствие того, что его считали хорошо знакомым с жизнью западных окраин Московского государства; о нем говорилось, что „он немецкое дело знает и немецкие нравы знает же“. Есть намеки, что, происходя из псковских пограничных мест, Афанасий Лаврентьевич еще в юности знаком был с немецким языком, разумел по-латыни и вообще испытал на себе влияние соседней немецкой культуры. Этим, конечно, обусловливалось направление его служебной карьеры: его постоянно держали на должностях, так или иначе связанных с западной окраиной. Когда же в сношениях со Швецией развернулись его дипломатические способности, правительство обратило его в профессионального дипломата. Снискав любовь и личную дружбу царя Алексея, Нащокин стал думным человеком, достиг боярства и впервые получил титул канцлера, переведенный по-московски довольно сложной формулой „царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегателя“. Этим самым он становился главным начальником Посольского приказа, в котором до того сидели посольские дьяки, подчиненные боярской думе. Единоличное управление ведомством внесло в него нечто новое: до сих пор Посольский приказ был подчиненной коллегией исполнителей при боярской думе; с этих пор он становился как бы органом личной политики его начальника, поскольку эта политика одобрялась государем. Раньше нельзя было говорить о личных политических взглядах того или иного правительственного лица: о всяком посольском деле все бояре „поговаривали“, пока не сходили „все на одну речь“, и тогда „приговаривали“,

и их „приговор“, с государева утверждения, исполнялся Посольским приказом. При новом порядке взгляды и действия начальника Приказа получали характер личной его политики, проводимой с ведома и одобрения царя Алексея, а боярской думе оставалась в этой сфере санкция и представительство. Именно этот новый порядок и дает возможность понять политическое направление Ордина-Нащокина и характеризовать его, как государственного деятеля.

Уроженец Псковского края, он на всю жизнь сохранил полученные в юности местные впечатления и понятия. Для него всегда на первом месте были интересы западных московских окраин [1]); его заветною мечтою было укрепить русское влияние на Балтийском побережьи и добыть для Москвы выход к Балтийскому морю. Как для псковича, для него типично было тяготение к Рижскому заливу и Западной Двине, а не к Финскому заливу и Неве. Предметом его вожделений была Рига более, чем Нарва. Как руководитель московской политики, он был поставлен перед двумя очередными задачами: либо бороться за малороссийскую Украину с Речью Посполитою, либо добывать от Швеции морской берег. Он всецело был на стороне последнего дела и проводил ту мысль, что Малороссия не стоит приносимых для нее жертв, что лучше быть с поляками в союзе, чем во вражде. Он даже высказывал надежду, что если бы такой союз удался, он повлек бы за собою объединение всех южно-славянских племен вокруг Москвы и Польши, и с этой точки зрения распря Руси и Польши из-за Украйны казалась ему пагубным междоусобием. Вредила она и согласным действиям Москвы и Польши против шведов, гегемония которых на Балтике была одинаково неприемлема и для той и для другой. Пока Ордину-Нащокину

---

[1]) Любопытно, что свои мысли о новых формах самоуправления для городского населения Нащокин осуществил именно во Пскове, где он был воеводою в 1665 году. „По примеру сторонних чужих земель“, он преобразовал земские учреждения Пскова в духе развития местной автономии. Ему казалось, что в этом отношении Псков послужит образцом для других московских городов; но опыт не удался, главным образом, из-за постоянных ссор самих псковичей.

удавалось держать царя Алексея в согласии с ним, он проводил свою систему в действие, поскольку, конечно, текущий ход событий этому не мешал. Когда же царь Алексей поддался иным влияниям и, вопреки своему канцлеру, всецело стал на мысли, что малороссийский вопрос и борьба с Польшей есть главнейшее дело момента, Ордин-Нащокин получил отставку. Наступление на Балтику было этим отсрочено до времен Петра Великого, но его необходимость была верно предуказана Нащокиным.

Не одна торговая важность западных путей сознана была Нащокиным. Он понимал, что этими путями всего удобнее шла в Россию европейская культура, которой он был сторонником. Ему, псковичу, она была житейски близка, и он принимал ее, как нечто обычное и неизбежное для деловой русской жизни. Своим острым умом он усвоил основы европейского современного ему политического строя и экономического порядка и показал себя наиболее ранним насадителем в Москве понятий бюрократического абсолютизма и меркантилизма. Встречаясь с иностранными дипломатами в своем посольском деле, он стоял на одном с ними деловом уровне и казался им европейцем в московской одежде. Держась внешних форм московского общежития, он был в существе своем уже реформированным человеком. Как выразился В. О. Ключевский, „Ордин-Нащокин во многом предупредил Петра и первый высказал много идей, которые осуществил преобразователь“ (Петр Великий). Таким образом, в своей сфере практической политики это был деятель вполне нового склада, отрешенный от ветхих московских традиций.

Он был чужд этим традициям и по своему моральному складу. Ему претил старый московский обычай делать дело в соответствии с местническими счетами и личной корыстью, давать ход „породе“ в ущерб личным способностям и предпочитать личную наживу общему благу. С горечью он писал царю из посольства: „На Москве, государь, ей, слабо и в государственных делах нерадетельно поступают“... „Не научились посольские дьяки при договорах на съездах государственные дела в высокой чести иметь, а на Москве живучи, бес-

страшно мешают посольские дела в прибылях с четвертными и с кабацкими откупами". Ссорясь с родовитыми боярами, Нащокин объяснял царю, что действует не по личной вражде, а потому, что у него „о государеве деле сердце болит и молчать не дает, когда в государеве деле вижу чье нераденье"... „У нас любят дело или ненавидят его, смотря не по делу, а по человеку, который его делает: меня не любят, а потому и делом моим пренебрегают". Сам Нащокин служил делу самоотверженно, твердо охраняя государственный интерес и достоинство, относясь с большой щепетильностью к своей служебной репутации. Не раз, при возникавших трениях, просил он царя „откинуть его, чтобы не разорилось им государственное дело", так как он считал возможным работать только при полном доверии к нему царя. Он пришел в полное отчаяние, когда его сын Воин убежал за границу, как изменник, во время служебной поездки, с казенными деньгами, „со многими указами о делах и с ведомостями". На просьбу пораженного отца об отставке, царь послал ему „от нас, великого государя, милостивое слово". Это слово было не только милостиво, но и трогательно. После многих похвальных эпитетов „христолюбцу и миролюбцу, нищелюбцу и трудолюбцу" Афанасию Лаврентьевичу, царь тепло писал о своем сочувствии не только ему, Афанасию, но и его супруге в „их великой скорби и туге". Об отставке своего „доброго ходатая и желателя" он не хотел и слышать, потому что не считал отца виноватым в измене сына. Царь и сам доверял изменнику, как доверял ему отец: „Будет тебе, верному рабу Христову и нашему, сына твоего дурость ставить в ведомство и соглашение твое ему! и он, простец, и у нас, великого государя, тайно был, и не по одно время, и о многих делах с ним к тебе приказывали, а такова простоумышленного яда под языком его не видали!". Царь даже пытался утешить отца надеждою на возвращение не изменившего, яко бы, а только увлекшегося юноши. „А тому мы, великий государь, не подивляемся, что сын твой сплутал: знатно то, что с малодушия то учинил. Он человек молодой, хощет создания Владычня и творения руку его видеть на сем свете; яко же и птица летает семо

и овамо и, полетав довольно, паки ко гнезду своему прилетает: так и сын ваш вспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание от святого духа во святой купели, и к вам вскоре возвратится!". Надобно было такое особо трогательное отношение царя Алексея, чтобы в данном случае удержать Нащокина у дел. Когда беглец „Войка" раскаялся и возвратился из бегов, отец не стал просить за него у царя, и мягкость взыскания, наложенного на сына, нисколько не зависела от просьб Афанасия Лаврентьевича.

Ртищев и Ордин-Нащокин — два ярких характера „новых людей" XVII века. Отходя от вековой московской рутины, они освободили от нее свою личность, но в то же время не подчинили себя никакой иной житейской феруле. Быть может, именно потому они и остались столь определенными личностями. Следующая за ними чета прогрессивных московских сановников, сменившие Нащокина, — канцлеры А. С. Матвеев и князь В. В. Голицын, — более определенны по своему направлению, чем по характерам. Они пошли оба по пути подражания и заимствований и стали жить с „манеру польского" или „с манеру немецкого". Способные и умные люди, они толково исполняли свои служебные обязанности и, вероятно, не даром пользовались придворным фавором, так как выдавались личными качествами из окружающей их дворцовой и приказной среды. Князь В. В. Голицын любил в свою деловую практику вносить гуманные идеи и широкие проекты, не очень выработанные и определенные. Матвеев же не имел этой слабости и оставался только практиком-бюрократом, не восходя до отвлеченных принципов и высоких чувств в своих деловых отношениях. Оба они одинаково были по натуре своей не злые люди и управляли не круто, в особенности Голицын. С его именем соединяется несколько гуманных мероприятий, сообщивших всему режиму его времени (1683 — 1689 г.г.) особенно мягкий колорит. Конечно, все приводимые здесь черты могут до некоторой степени характеризовать этих людей, но далее таких черт в определении их индивидуальности итти трудно, и самым ярким их свойством все-таки остается их склонность подражать Западу.

Что касается Матвеева, то его отношение к вопросу о заимствовании „заморских“ вещей и обычаев в московский обиход было, так сказать, обывательским. Ему нравилась та или иная частность в быту знакомых ему „немцев“, и он легко переносил ее в свой дом, усваивал в свой быт, или же рекомендовал царю. При этом он не поднимал никаких принципиальных вопросов и не делал обобщений. Ему, повидимому, вовсе не приходилось защищать своих взглядов и поведения, потому что в его время в Москве уже очень слаба была охранительная тенденция, и никто не грозил карами за сближение с „немцами“. Артамон Сергеевич и женат был на обруселой шотландке Евдокии Григорьевне Гамильтон, чего никто ему не ставил в укор. Пострадал Матвеев при царе Федоре Алексеевиче не за близость к немцам и не за направление, а вследствие придворной интриги. До этого же своего несчастия и ссылки Матвеев жил весело и привольно. Он держал свой дом на „немецкий манер“, обставил его заморской мебелью и безделушками, завел у себя театральную труппу с режиссером Иоганном Готфридом и с декоратором („перспективного письма мастером“) Петром Инглесом. В этой труппе лицедействовали наемные немцы и дворовые люди Матвеева. Домашний театр Матвеева был представлен вместе с его оркестром ко двору, и царь с царицею (воспитанницею Матвеева) тешились „комедиями“ на библейские сюжеты, между прочим, комедиею, „как Олоферну-царю царица голову отсекла“. Для усиления имевшей успех труппы к тому же режиссеру Готфриду командировались подъячие „для научения комедийного дела“ и вербовались мальчишки из Новомещанской слободы „в камидианты“. Не без юмора замечал С. М. Соловьев, что „так основывалось в Москве театральное училище прежде славяно-греко-латинской академии“! Склонный к потехам всякого рода, царь Алексей поощрял своего любимца Матвеева к заимствованиям именно в области развлечений. Оба они питали к этого рода заморским вещам великую слабость; царь, например, собственноручно записывал на деловых бумагах, чего бы хотелось ему получить из-за границы: „кружив, в каких ходит шпанской король, и французской, и цесарь“; „мастеров — чтоб птицы

пели на деревах, также и люди играли в трубы"; „мастеров комедию делать".. Так как это желание царя иметь „мастеров комедию делать" было высказано лет за десять до появления у Матвеева труппы (именно в 1660 году), то можно думать, что царский любимец, заводя у себя театр, исполнял только желание своего государя.

Более идейным человеком, чем Матвеев, был князь Вас. Вас. Голицын. Для определения его личных свойств имеется очень немного данных; но все они говорят о его доброте и гуманности. С одной стороны, законодательство в те годы, когда у власти был Голицын, отличалось мягкостью. С другой стороны, тот иностранец (Невилль), которому мы обязаны единственною характеристикою Голицына, рисует нам его как политического мечтателя, исполненного всякого рода благими намерениями. К сожалению, Невилль не съумел обстоятельно передать всего того, что ему говорил Голицын, а попытка проф. В. О. Ключевского раскрыть намеки Невилля не идет далее гипотез, искусных, но не всегда бесспорных [1]). Если признать вслед за Ключевским, что мечтания Голицына слагались в целую систему преобразований, то надобно представить ее себе в таком виде, что просвещенный сановник предполагал прежде всего освободить крестьян от власти землевладельцев и от воинской повинности и взамен повысить лежавшие на них подати. Увеличенный таким образом доход казны обращался бы на содержание войска, которое имело бы строго сословный дворянский состав. Обеспечиваемое службой дворянство должно было бы получать к ней подготовку за границей и составлять всей своей массой регулярную армию. Пребывание за границею, помимо технической выучки, поднимало бы и вообще культурный уровень класса. Так сплетались в планах Голицына мотивы военно-технические, социально-экономические и просветительные. Очарованный князем Голицыным, Невилль так заключает свой ему панигирик: „Если бы я захотел написать все, что узнал об этом князе, я никогда бы не кончил; достаточно сказать, что он хотел населить пустыни,

---

[1]) *В. О. Ключевский.*—Курс русской истории, III, лекция 58, стр. 459—460.

обогатить нищих, дикарей превратить в людей, трусов в храбрецов, пастушьи шалаши в каменные палаты". Столь радикальный в общих преобразовательных планах, Голицын и в своей частной жизни ушел далеко от московской старины в сторону культурного Запада. Вот как, на основании сохранившихся документов, В. О. Ключевский описывает житейскую обстановку Голицына: „В его обширном московском доме, который иноземцы считали одним из великолепнейших в Европе, все было устроено на европейский лад: в больших залах простенки между окнами были заставлены большими зеркалами, по стенам висели картины, портреты русских и иноземных государей и немецкие географические карты в золоченых рамах; на потолках была нарисована планетная система; множество часов и термометр художественной работы довершали убранство комнат. У Голицына была значительная и разнообразная библиотека из рукописных и печатных книг на русском, польском и немецком языках... Дом Голицына был местом встречи для образованных иностранцев, попадавших в Москву, и в гостеприимстве к ним хозяин шел дальше других московских любителей иноземного, принимал даже иезуитов, с которыми те не могли мириться". Карьера Голицына была прервана политическим переворотом 1689 года, когда „правительница" София Алексеевна была отстранена от власти. С нею отстранен был и Голицын, причем его пышный дом был конфискован и ликвидирован. Одна сжатая опись этого дома составила целую книгу, полную ценных указаний на характер внешней культурной обстановки, в какой жил „великий" Голицын.

Если с вершин московского общества спустимся в его средние слои, мы и там найдем представителей того же новаторского движения. Достаточно указать лишь на известного Котошихина, чтобы убедиться в том, какая степень радикализма стала доступна для рядового москвича той эпохи.

Простой подъячий посольского приказа, Григорий Карпов Котошихин, по свидетельству современников, „отличался умом перед своими сверстниками и единоземцами". Как умный и способный человек, он был посылаем в „гонцах" в Ревель и Стокгольм для дипломатических сношений со шведами.

Знакомство его с шведами не ограничивалось служебными поездками: Котошихин водил дружбу и со шведскими агентами, жившими постоянно в самой Москве. Дело кончилось тем, что московский подъячий стал „gut schwedisch“: он за деньги шпионил для шведов в Посольском приказе, выдавая им документы и сообщая нужные сведения, а затем (в 1664 г.) и вовсе покинул Московское государство, ища дороги в Швецию через Любек и Нарву. В Швеции он переменил фамилию Котошихина на Селицкого и сменил православие на протестантство. Принятый на шведскую службу, он составил для шведского правительства обстоятельное описание Московского государства и в нем сам засвидетельствовал свои протестантские взгляды. Говоря о посылке при московских посольствах или в полках „образов древнего писания“, он ставит вопрос: „для чего те образы посылаются?“ и отвечает: „для того: когда на войне учинится над неприятелем поиск (успех), а в посольстве вечное докончание (мир), и те дела учинятся помощью Божиею, а они разумеют будто помощью и заступлением и молитвою богородицыною и святых которых из тех образов, — и по такому домышлению те образы почитают; и не стыдятся к бездушному глаголати и о помощи просити, понеже слепы есть: замазал им диавол очи пламенем огня негасимого“ [1]). Более яркого доказательства вероисповедного отщепенства Котошихина трудно себе и представить. При свете приведенных фраз особую силу получают иные выходки его против русских людей вообще: „в государстве своем научения никакого доброго не имеют и не приемлют, окроме спесивства и бесстыдства и ненависти и неправды“. Котошихин, словом, вовсе ушел с родной почвы, усвоив иную „веру и обычаи и вольность благую“.

III

Приведенных беглых характеристик „новых“ московских людей, полагаем, достаточно для того, чтобы подтвердить справедливость сделанного нами замечания о наставтей для них

---

[1]) „О России“ Котошихина, изд. 4-е, 1906, стр. 54.

в XVII веке свободе самоопределения. Резкий перелом общественного настроения после революционных вспышек середины века открыл широкую дорогу всякого рода новшествам и окончательно сокрушил устои старого быта. Ревнителям старины, вроде знаменитого протопопа Аввакума и, столь же, как он, упорного диакона Федора, приходилось вести борьбу не против одной только церковной реформы, но против „духа времени" вообще, в защиту не одного старого обряда и текста, но всей „последней Руси", которая явно умирала под напором „новин". Московские передовые люди, вопреки скептическому утверждению Котошихина, охотно „принимали доброе научение", то-есть улучшали свою культуру заимствованиями со стороны. К исходу XVII века в Москве иноземный элемент расцвел уже пышным цветом, и то, что в первой половине века было несмелым опытом, превратилось в привычный обиход. Обстановка жизни очень изменилась; нового появилось столько, что необходима была бы целая книга для перечня всякого рода заимствований, вошедших в московские нравы. Нам возможно дать только самый общий перечень того, что можно признать характерными явлениями данного момента в пределах нашей темы.

Прежде всего в торговом московском мире и на службе у правительства находилась теперь масса иностранцев. Проникший в Москву в исходе XVII века иезуит нашел, к большому своему изумлению, в подмосковной немецкой слободе „почти все европейские народности". На его взгляд, католиков здесь было меньше, чем „еретиков"-протестантов; но все же и тех собралось тут много. Характерна была даже самая возможность проживания в Москве иезуитов, для которых въезд в Московское государство был строго запрещен. Всего больше в Москве было голландцев и англичан. Что касается до последних, то ограничительные меры, принятые против них в 1649 году, остались без строгого применения, так как Московское правительство, как и раньше, находило прямую для себя выгоду поддерживать торговые отношения с английским рынком. Ответив репрессией на казнь английского короля Карла I, Москва не думала упорствовать в этой

репрессии и не закрывала дороги на Русь английским товарам и английским эмигрантам. Поэтому англичанин-купец и англичанин (или шотландец)-офицер не были редкостью в московском быту второй половины XVII века. Они только уступали первое место голландцам, как наиболее благоприятствуемой нации. В исходе века в Московском государстве считалось более 300 голландских купцов: всю же иностранную торговую колонию в Москве считали в 1000 человек слишком. Голландские купцы были, повидимому, организованы: они составляли „сотню" под главенством „головы", и московская администрация признавала официально эту сотню „Галанские земли и Амбурка города торговых иноземцев".

Многие из служилых и торговых иноземцев прочно вросли в московскую почву; они целыми семьями, даже группами породнившихся семей, обжились в Москве, перешли в православие, были удостоены официальных милостей и, что еще важнее, снискали доверие власти и становились ее агентами по торговым и дипломатическим делам. Некоторые семьи настолько развили свои торгово-промышленные операции и так близко стали к администрации, что получили некоторое влияние и пользовались общею известностью. Новый Гостиный двор в Китай-городе был их внешним центром; там были их склады; „на этом дворе", говорил один современник (Кильбургер), „иностранцы держат, так сказать, свою биржу и собрание и их можно там ежедневно встретить". На верхах этого класса капиталистов находился десяток-другой фамилий особо привилегированных и важных. Из них можно назвать, например, Кленков, Марселисов и Виниусов. Эти семьи типичны каждая на свой манер.

Семья Кленков или Клинков (van Klenk) торговала с Москвою много десятилетий, и ее представители живали в Москве подолгу, имели от царей Михаила и Алексея жалованные грамоты на льготный торг, были удостоены звания „гостя". Один из Кленков ездил даже голландским послом в Москву в 1675 г. и был там в этом качестве очень хорошо принят. Но Кленки не оставили для Москвы своей родной Голландии и после длительных операций в Москве все-таки

возвращались на родину. Москва для них оставалась только рынком, которым необходимо было пользоваться в интересах голландской торговли и политики. И Кленки делали это с большим искусством.

Более сблизились с Москвою Марселисы. В Московском государстве они, вместе с их близкою роднею, Бернзли, Келлерманом, Фенцелем и другими, образовали одно крупное гнездо предпринимателей капиталистов. Появились они на Руси еще при начале династии Романовых, прочно обжились здесь и брались за всякого рода дела. Виднейший представитель семьи Марселисов, Петр Марселис был сыном датского комиссара при московском правительстве, родился и воспитывался в Москве; он сам считался, как и его отец, датским комиссаром и иногда исполнял дипломатические поручения, но в то же время его главным делом были железные заводы в Тульских и Калужских местах, а также и в Поморьи. Сыновья Петра Марселиса, Петр и Леонтий, и внук Христиан, продолжали развивать предприятия своего родоначальника, являлись так же, как и он, агентами правительства, исполняя разнообразные его поручения и, между прочим, в течение нескольких лет (1668 — 1675) держали вновь образованную почту между Москвою и западными границами. Уменье Марселисов соединять правительственную службу с торговой деятельностью послужило к их обогащению, так как связи их с правительственными сферами облегчали им получение всяких льгот и концессий. Биограф Марселисов, проследив их судьбу на московской почве, говорит о них: „Это — эксплоататоры, умевшие втереться в доверие правительства и приобрести себе выгодные права; в то же время это — люди энергичные, умевшие широко ставить задуманные ими предприятия. Значение их в истории русской торговли и промышленности той эпохи очень велико: они были представителями капитала в тогдашнем русском обществе, жившем еще в сфере натурального хозяйства; они наживались на счет этого общества“... [1])

Лучшую характеристику заслужили своим отношением к Москве Виниусы. Первый из них, Андрей Виниус, прибыл на Русь из Голландии около 1630 года, занялся хлебною

скупкою и умел угодить московскому правительству тем, что купил казенные хлебные запасы „большою прямою ценою, без хитрости и без корысти". В 1631 году он уже имел жалованную грамоту на право свободного торга, а через два года добыл себе исключительное право на безоброчное производство железного промысла в Тульских местах. Широкий размах предприятий Виниуса создавал для него иногда финансовые затруднения и заставлял его искать компаньонов (в лице Марселисов, Тилема́на Акемы и др.); но в общем благосостояние Виниуса росло и он пользовался громкой известностью в деловом мире и доверием властей. Иноземцы находили, что он предан был русским больше, чем своим землякам, и, повидимому, это было верно. Виниус перешел в православную веру, исполнял всякие поручения московского правительства дома и за границей и гордился своим титулом, который в полной форме произносился так: „его царского величества Российского государства комиссар и московский гость Андрей Денисов сын Виниус". Сын его Андрей Андреевич был еще заметнее отца: он получил широкую известность, как один из сотрудников Петра Великого. В нем правительственный чиновник закрывал собою купца и промышленника. Православный по вере, обруселый и рано взятый на службу, он вначале был „гостиной сотни торговым человеком", затем — переводчиком в посольском приказе, затем — московским дворянином и дьяком. Как переводчик, он не только „толмачил" при посольствах, но занимался литературными переводами, писал проекты (об учреждении флота), ездил с дипломатическими поручениями за границу. Впоследствии он перешел на административное поприще — управлял Аптекарским приказом и с 1675 года заведывал (после Марселиса) почтовым делом. Ко времени Петра Великого он совершенно сросся с русской административной средою и для Петра явился ценнейшим сотрудником, ничем не отличным от прочих „птенцов гнезда Петрова". В 1703 году Виниус лишился доверия и милостей Петра и под влиянием опалы в 1706 г. убежал было за границу, однако не выдержал отлучения" и добровольно возвратился на русскую службу, на которой и умер в 1717 году.

С высокой степенью обрусения можно встретиться и в среде иноземцев, служивших в московских войсках. К концу XVII в. общее количество войск регулярного строя было не менее 90.000 человек. По официальному счету 1681 года было регулярной кавалерии (рейтар, копейщиков и драгун) 29.844 человека, а пехотных солдат — 59.203 человека. Командный состав этой армии состоял в значительном проценте из иностранцев. На взгляд одного из современников (германского посла Мейерберга в 1661 году), в Москву набралось „бесчисленное множество" военных иноземцев; одних генералов и полковников ему было известно более ста. Точный подсчет иностранного офицерства, относящийся к 1696 году, дает число генералов и офицеров (до прапорщиков включительно) в коннице 231, а в пехоте 723 [1]). Переход от старых форм военного устройства к регулярным европейским создал в Москве и офицерский корпус европейского образца, в котором руководственная роль принадлежала естественно профессионалам военного дела с Запада. Этих последних в Москве вначале очень баловали, ибо в них нуждались: платили им большое жалованье (полковникам в коннице 400 рублей, в пехоте 250 рублей в месяц), давали им крупные поместья с крестьянами и всячески задерживали на службе, затрудняя выезд за границу. При этом условии много иностранцев „застарело" на московской службе и, обрусев, приняло вместе с православием туземное обличье. „В обществе офицеров заметно различие", говорит один современный иностранный наблюдатель (Шлейзинг) о служилых иноземцах в Москве: „одни из них называются старыми, другие новыми немцами. Старые немцы родились в России,... немецкая кровь в них испарилась; большею частью они с рус-

[1]) Любопытно отметить, что по официальному „сметному списку" 1632 г. в московской армии было иноземного строя пехоты и конницы всего 6118 человек при 105 иностранных офицерах. Таким образом за полстолетие численность регулярной армии в Москве возросла в 15 раз и в то же почти время число иностранных офицеров увеличилось почти в 10 раз. В 1663 г. (по подсчету Е. Сташевского) было солдат регулярного строя 55714 человек и при них 2422 „начальных людей", но сколько в этом числе состояло иностранных офицеров, не определено.

скими манерами, ходят в русском платье и очень плохи в военном деле, мало понимают или даже ничего не понимают в нем. Для лучших офицеров эти несчастные залетные птицы точно спицы в глазу, так они им неприятны. Для них уже нет возврата на родину, потому что их отцы и деды вступили в вечное подданство (московского) государя и многие из них приняли русскую веру. Новые немцы — те, которые выписаны царем из-за границы и которые раньше служили королям шведскому, польскому и другим; между ними есть храбрые люди"... С течением времени, когда наплыв военных иноземцев стал очень велик и в Москве предложение их труда и знаний превысило спрос, начались некоторые ухудшения в условиях их жизни. Признали неудобным давать поместья с русскими крестьянами иноземцам, даже и тем из них, кто „крестился в православную христианскую веру благочестия ради и для государской милости". Оклады денежного жалованья, которым исключительно довольствовали иноземцев, понемногу уменьшали, так же, как и пенсии вдовам и детям „начальных людей, побитых на войне или умерших на государевой службе". А в 1682 году 383 человекам командного состава иноверцам просто объявили, что „им впредь государева жалованья без службы давать не доведется: кто из них похочет остаться в Москве, пусть живет на своем дворе без жалованья, и как учинится войсковое дело, тем снова будет государево жалованье; а кто захочет куда ехать, тех государь велел отпустить без задержания". Таким образом, Москва к концу века оказалась в состоянии пополнять свой офицерский корпус исключительно обруселыми иноземцами, а выезжих офицеров принимать на службу лишь по особому выбору.

В этих новых условиях московской службы, требовавших того, чтобы человек прочно связал себя с Москвою, находились такие заметные люди, как Патрик Гордон и Павел Менезиус (иначе Менезес), — оба католики и оба в то же время доверенные люди Московской власти. Гордон всю свою молодость провел в боевой обстановке; рано покинув родную Шотландию, он служил шведам и полякам и участвовал во

многих походах. Его храбрость, распорядительность и порядочность составили ему хорошую репутацию. В 1661 году, 36 лет от роду, он получил сразу два предложения — в службу австрийскую и русскую. Он выбрал последнюю и поехал в Москву, по условию на три года. Но эти три года превратились в десятилетия: Гордон прожил в России все остальные 38 лет жизни, дослужившись до высокого чина „генерала“ и заслужив доверие правительства настолько, что ему было дано самостоятельное дипломатическое поручение в Англию. Из подробного дневника Гордона можно видеть, как хорошо обживались иноземцы в московской обстановке и как свободно они себя чувствовали, если только не пытались оставить московскую службу. Все попытки Гордона взять отставку и вернуться на родину отклонялись с гневом и даже с угрозами послать его с семьею в ссылку. Но в то же время высшие правительственные лица делали его своим интимным советником. Так, знаменитый князь В. В. Голицын часто звал к себе Гордона для политических бесед, имевших иногда „тайный“ характер. В начале 1684 года он просил Гордона составить для него обстоятельную записку по вопросу о войне с Крымом, и Гордон на другой же день доставил ему свой мемуар, написанный без особых „цензурных“ стеснений, с большою свободою мнений и выражений. Биограф Гордона проф. А. Брикнер отзывается об этом мумуаре очень одобрительно, говоря, что его обстоятельность и обширность „может служить доказательством того, что Гордон был в состоянии в самое короткое время изложить весьма ясно и отчетливо довольно сложные политические вопросы“ [1]). Большая деловитость Гордона, его честность и порядочность, выдержанность и стойкость характера повели к тому, что смена властей и влияний в Москве не отзывалась на его положении. Близкий к любимцу царевны Софьи Голицыну, Гордон стал столь же близок к царю Петру, когда Петр устранил Софью и взялся сам за дела. Последние годы своей жизни Гордон находился уже

[1]) *А. Брикнер*, „Патрик Гордон и его дневник“. Спб. 1878, стр. 45. Самый мемуар Гордона издан целиком в его дневнике.

в кругу высших московских сановников и, как известно, был одним из наиболее чтимых любимцев Петра.

Не столь удачлив был в своей карьере Павел Менезий „барон фон-Питфодельс“. Ему не пришлось стать столь видным фаворитом, каким был Гордон. Но степень доверия к нему московского правительства была не меньшею. Несмотря на то, что он был добрым католиком („huomo dotto e bonissimo cattolico“, как аттестовали его в Риме), он пользовался в Москве прекрасною репутациею и не раз исполнял дипломатические поручения, являясь представителем Москвы даже в Риме. Там при папском дворе он произвел большое впечатление своей образованностью и ловкостью. Его нашли человеком вполне образованным и отметили, что он владел языками французским, английским (он родом был шотландец), немецким и латинским; по-латыни он говорил будто бы с особенной ловкостью и изяществом. В Москве он пользовался твердым положением не только по своим деловым достоинствам, но и потому, что через своих шотландских родственников Гамильтом состоял в свойстве с Матвеевыми и Нарышкиными. Близость к этим двум семьям, почти родственная, стала твердою базою для Менезиуса. Именно на этой близости создалась известная легенда о том, что Менезиуса царь Алексей Михайлович назначил наставником своего сына Петра („le déclara gouverneur du jeune prince Pierre son fils, auprés duquel il a toujours demeuré jusq'au commencement du régne du czar Jean“). Если даже в этом известии нет зерна фактической правды, то любопытна та его особенность, что в нем впервые является пред нами представление о фаворите-иностранце в русском дворце.

В заключение заметок об иностранцах, действовавших в Москве во второй половине XVII века, необходимо упомянуть о положении в ту пору врачебного дела. Тогда уже отжил старый московский порядок, по которому выезжий заграничный врач и его аптека почитались принадлежностью исключительно царского обихода и ведались наиболее приближенными к царю боярами. Для того, чтобы при царе Михаиле получить из этой царской аптеки лекарство, надобно было осо-

бое челобитье и особый „приказ государевым словом“ [1]). Позднее в Москве открыли „новую аптеку“ для вольной продажи из нее лекарств „всяких чинов людям“, и на доходы с этой аптеки содержался, между прочим, „Аптекарский приказ“ или „Аптекарская палата“. Из прежнего интимного дворцового „приказа“ врачебное дело во второй половине века вышло в государственную сферу, составило особое ведомство и, повидимому, стало развиваться довольно быстро. Аптекарский приказ занимался приглашением врачей из заграницы и образованием русских лекарей, ведал их службу и являлся для них судебной инстанцией, устраивал аптеки, сады и огороды для целебных растений, посылал в действующие войска врачей и врачебные средства. Врачебный персонал, состоявший в ведении приказа, быстро увеличивался. При царе Михаиле докторов (внутренние болезни) и лекарей (наружные болезни) было в Москве всего десятка два [2]). При царе же Алексее из-заграницы было приглашено вновь не менее 13 докторов, 27 лекарей и окулист. В момент вступления на престол Петра Великого (1682 г.) в Москве на лицо состояло 6 докторов, 19 лекарей, 36 человек низшего врачебного персонала („лекарских учеников“), не считая докторов и лекарей в других городах и в войсках. Нельзя сказать, чтобы этот персонал был незначителен; правы были московские люди, когда они выражались, что у них есть „многие лекари от всех язык, которые живут на Москве“. Правы они были и тогда, когда говорили, что „у государя есть дохтуры иноземцы многих земель и природные Московского государства“. Мы имеем достаточно указаний на то, что врачебную науку от иноземцев стали усваивать и русские люди. В Азовском походе 1695 года

---

[1]) Так, в 1630 г. шурин царя Михаила князь И. М. Катырев-Ростовский особой челобитною просил царя дать ему для его „головной болезни“ лекарств, „из своей государской аптеки, своих государских масл“. Известны и другие просьбы такого же рода.

[2]) Так различались врачебные специальности в Москве; говорилось: „то дело дохтурское, а не лекарское, потому что болезнь нутряная“; „у него болезнь наружная, на левой ноге язвы, и то дело лекарское, а не дохтурское“.

в войсках на 14 лекарей иноземцев приходилось 7 русских лекарей; в самой же Москве их считали десятками. В 1862 г. в ведении Аптекарского приказа состояло 44 человека русских лекарей и лекарских учеников. В чем заключался круг их знаний, определяется словами одного из таких московских специалистов: „раны стрельные, колотые и рубленные лечу и пульки вырезываю и руду (кровь) жильную и банками пущать умею, водки гнать, мази стирать знаю же, болезни нутряные лечить могу же и несколько очного и костоправного дела навычен". В одном лице, словом, встречаем хирурга, ортопедиста, терапевта, окулиста, фармацевта и, выражаясь по-современному, самогонщика. Современное состояние медицинских знаний и техники позволяет с улыбкою смотреть на опыты московского врачевания. Но необходимо отметить, что для той эпохи представляла большую важность некоторая эмансипация врачебной практики, допущенная московскою властью. К концу XVII века русские люди могли лечиться не у одних туземных знахарей из „зелейного ряда" (москательных лавок), но и у врачей, прошедших медицинские школы Запада и подготовленных к своему делу наукообразно.

IV

Одновременно с наплывом людей из Западной Европы, в Москву лился людской поток с Украйны. Выше уже указывалось на то, что в середине XVII столетия московские власти начали сами вызывать ученых украинцев в Московское государство как для работ по исправлению богослужебных книг, так и вообще для водворения в Москве православной богословской науки. Польская война царя Алексея повела к завоеванию Украины и, главным образом, Киева — центра украинской образованности. Те школы и монастыри, где сосредоточивались умственные силы края, оказались теперь, после московских побед, в московском подданстве. Сношения их с Москвою облегчились и упростились. С другой стороны, так называемая церковная реформа Никона требовала большего и большего числа сведущих лиц, которых одинаково

звали с Греческого востока и с Украины. Совокупность этих обстоятельств обусловила появление в Москве массы малороссов и отчасти белоруссов самых различных специальностей и типов — от высокоученых и литературно одаренных кабинетных и придворных людей до смиренных трудолюбцев, умеющих „водить всякую животину и птиц". В московских монастырях к исходу XVII века оказалось столько приходцев, что, по словам одного исследователя, „некоторые московские обители были заполонены ими". А во многих монастырях даже и настоятельство оказалось в руках зарубежных выходцев, что повело к упреку со стороны одного из восточных патриархов (иерусалимского Досифея в 1686 году). Он настаивал пред царями Иваном и Петром Алексеевичами, чтобы „в Москве сохранен бе древний устав, да не бывают игумены или архимандриты от рода казацкого, но москали". По мнению патриарха, нормален был бы такой порядок, чтобы был „москаль и на Москве и в казацкой земле, а казаки токмо в казацкой земле"; Москва же не выдерживала этого порядка и наплодила у себя украинцев даже в руководственных должностях по церковному управлению. И вне церкви, в дворцовом быту, при дворе и в дворцовом хозяйстве, украинцы также появились в большом числе. Это были, во-первых, представители разных прикладных знаний, искусств и ремесл: иконописцы, резчики, винокуры, садовники. В числе последних подвизались в царских садах виноградари и пчеловоды из южно-русских монахов. Затем, во дворце и в домах московской знати появились учителя из южно-русских ученых. Можно для того времени назвать много имен таких „педагогов", учивших не только в семьях, но и в маленьких школах по частным домам (например, у известного нам Ф. М. Ртищева). Количество „педагогов" было столь значительно, что даже предполагалось, с устройством в Москве академии, воспретить их практику в частных домах, чтобы не создавать конкурренции академическому учению. Наконец, рядом с учителями и домашними наставниками, появились в Москве проповедники и ораторы — малоруссы и белоруссы. Они принесли с собою не только церковные проповеди, но и свет-

ские „орации“ — речи поздравительные и панигирические. Обычай говорить речи в дни праздников и торжеств и славить в них героев и благодетелей очень привился в московском официальном быту. Проповедников и ораторов слушали не только в церквах, но и на парадных выходах и приемах, и притом на темы не только церковные, но и политические. Речи иногда заказывались заранее, как обычная и необходимая составная часть того или иного торжества; при этом в Москве заботились о воспитании собственных доморощенных „орацейщиков“, не довольствуясь одними заезжими южанами. Мода на декламацию вызвала вместе с „орациями“ и „вирши“. которые в большом количестве стали слагаться на разные случаи жизни или же просто заимствоваться из южнорусского обихода. Их читали и распевали „мирским гласоломательным пением“ на малорусский манер, то-есть с разнообразием напевов светской народной песни, которыми умели тогда блеснуть музыкальные украинцы.

Мода на все малорусское, охватившая верхи московского общества, стала было остывать ко времени царя Федора Алексеевича под влиянием горьких разочарований в деле освоения Украины Москвою. Малороссы оказались не столь верными „подданными“, как представлялось москвичам в начале борьбы за Поднепровье; они были „непостоятельны“ и изменяли. В самой Москве они являлись нередко неискренними и своекорыстными! Один из самых блестящих представителей украинской культуры в Москве, Симеон Полоцкий, с горечью отметил в своей переписке перемену в отношении москвичей к малороссам и сообщал, что сам он еще не пострадал от этой перемены, потому что „сидел спокойно в келье. не вылетая, как пчела на мороз“, но что в общем украинцам стало в Москве хуже. Он пояснял, что, во-первых, в Москве nemo illum amat, qui „da, da mihi“ clamat, а во-вторых, „Украйны нестатек одвроцил од нас их ласки остатек“ [1]).

[1]) В переводе это значит, что „никто не любит того, кто кричит: дай, дай мне“ и что „непостоянство Украйны отвратило от нас остаток их благосклонности“.

Это он писал в 1669 году, а годом позже он выразился обстоятельнее, что к украинцам в Москве отношение, вследствие поведения легкомысленных людей, изменилось настолько, что иной из прилетающих в Москву, как пчелы летят на благовоние, готов удрать хотя бы целым. Известно, что длительный и очень специальный спор московских богословов с украинскими о „пресуществлении“ закончился печально для последних, и собор 1690 года, собранный в Москве патриархом Иоакимом, осудил „хлебопоклонную“ ересь латинствующих украинцев и их московских учеников. Этим осуждением брошена была на малороссов тень подозрения в том, что они и вообще неправославны, и положение ученых южно-русских в Москве было скомпрометировано настолько, что доступ в высшую иерархию был им на некоторое время закрыт. Однако, жить без них Москва не могла, так как нуждалась в их знаниях, и все-таки ценила их культурность. Поэтому в течение всей второй половины XVII века мы видим и во дворце, и у патриарха влиятельных южноруссов из числа тех, в личном правоверии коих москвичи не сомневались. Весьма известны из них Епифаний Славинецкий и Симеон Полоцкий, оба киевские монахи.

Епифаний Славинецкий прожил в Москве не менее двадцати лет, там и скончался (1675 г.). Это был кабинетный ученый, не стремившийся к внешним успехам. По вызову московских властей, он состоял у книжного исправления, переводил и редактировал тексты св. писания и св. отцов, составлял проповеди, сочинял жития, выступал с учено-каноническими справками по разным вопросам церковной жизни и был редактором соборных „деяний“ (протоколов) и определений московской церкви, а также переводов подобных же текстов восточных церквей. В его лице московская церковь имела сведущего эксперта по всем вопросам, возникавшим тогда в шумной и тревожной жизни церковно-общественной. Славинецкого поэтому весьма почитали и ценили, но не выдвигали его на арену практической деятельности, для которой, повидимому, не было данных в самой его натуре. Иначе сложилась деятельность в Москве Симеона Полоцкого, куда он

явился в 1663 году. Живой, общительный, обладавший внешними данными, он охотно брался за самые разнообразные дела. Сначала он учительствовал, и, повидимому, его педагогические таланты в Москве были оценены. С 1667 года он уже стал учителем в царском семействе, где обучал царевичей Алексея и Федора, царевну Софию. Были у него ученики и среди московской знати. Далее, Полоцкий показал себя талантливым автором чисто литературных произведений в прозе и стихах. Он составлял речи и приветствия, пробовал силы в комедиях, вел обширную переписку в щегольских литературных формах с московскими и южно-русскими корреспондентами. С другой стороны, его перо призывалось и на официальную службу. Ему поручалось составлять официальные речи от имени царя и иерархов в различных торжественных собраниях и встречах; поручалась редакция соборных определений и „деяний“; он вел официальную полемику с расколом и составлял опровержение мнений расколоучителей. С особою охотою занимался Полоцкий религиозно-назидательными сочинениями, составляя их или в виде поучительных вирщей, или же в виде прямых проповедей. Такого рода произведений Полоцкого сохранилось огромное количество. Успех талантливого монаха в Москве был необычаен. Обаяние его личности и большие связи в московском обществе создавали для него возможность не только процветать самому, но и помогать другим южноруссам устраиваться в Москве. Реакция против киевской учености не повредила Полоцкому, хотя Славинецкий и указывал на то, что Полоцкий латинист: „знаяше нечто, но латински точию, гречески же ниже малейше что-либо знаяше“.

Время этой реакции против „латинской“ учености киевлян (то-есть, последняя четверть XVII века) выдвинуло вопрос о замене культурного руководства южноруссов руководством греков. Был такой момент в московской жизни, когда греческое влияние могло чрезвычайно укрепиться, именно в период господства Никона, в 50-х и 60-х годах того века. Склонный к резким увлечениям и решениям, Никон подпал всецело греческому влиянию и проводил свои церковные „новшества“

по указке греков, перенимая у них даже внешние мелочи церковного чина. „Решив собственно привести в полное соответствие русские церковные книги, чины и обряды с современными греческими, — говорит проф. Н. Ф. Каптерев, — Никон кстати уже переносит к нам и греческие амвоны, греческий архиерейский посох, греческие мантии и клобуки, греческие напевы, приглашает на Русь греческих живописцев, мастеров серебряного дела, строит монастыри по образцу греческих и дает им греческие названия, приближает к себе без разбора всех греков, слушает только их, действует по их указаниям, повсюду выдвигает на первый план греческий авторитет" [1]). То же отношение к грекам, подчиненно-послушное, сохраняет московская власть и после Никона до самого суда над Никоном. Казалось бы, что для греческой иерархии созданы наилучшие условия, чтобы подчинить Москву своему культурному воздействию, создать в ней свои школы, водворить в ней своих учителей, основать свои типографии для печатания богослужебных книг вместо того, чтобы печатать их в Италии... Но ничего такого греки не сделали; напротив, их влияние в Москве скоро совершенно ослабело. Тому были две основных причины.

Во-первых, греки не умели, да и не смогли бы сохранить за собою приобретенный ими авторитет. Личное увлечение греками Никона не давало простора для критики, и русские люди молчали. Падение Никона развязало языки, а поведение греков давало им обильную пищу. Прежде всего греков стали представлять морально низкими людьми, готовыми продать истину и пожертвовать святынею ради щедрой „милостыни", то-есть субсидий и взяток. И надобно сказать, что такое представление было не безосновательно. А затем греческое правоверие, в которое так уверовал Никон, не обольщало других. Не только противники Никона, расколоучители,

[1]) *Н. Ф. Каптерев,* „Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях". Изд. 2-е, 1914 г., стр. 444. — Последняя глава этого труда представляет отличный очерк упадка значения греков на Руси в XVII — XVIII вв.

в него не верили, но и нейтральные люди отзывались о нем скептически. „Сами, насилия ради от безбожных, благочестие свое погубиша: чудотворные иконы, также и мощи святых разделивше, вся от себя отвезоша на Русь и свое благочестие пусто сотвориша“, так отзывался о греках один из писателей той эпохи. Во многих умах крепок был взгляд побывавшего на Востоке русского монаха Арсения Суханова, который говорил грекам в глаза, что как папа не глава церкви, так и греки не источник веры, что если и были некогда греки источником всем, то теперь он пересох и они сами страждут жаждою; так где же им напоять весь свет своим источником! Самое большее, что допускалось в Москве после длительного общения с греческим духовенством в пору Никона, это — признание, что греческая церковь столь же православна, как и московская.

Во-вторых, в Москве убедились в том, что у греков нет никакой своей особой науки и что в сущности у них в этом отношении не существует никакого превосходства над учеными киевлянами и „немцами“. Мало того, москвичи поняли, что если у греков и были ученые люди, то выучились они не в греческих странах, под турецким игом, а на латинском Западе и прежде всего в католической Италии, где они получали свое высшее научное образование и где печатали свои греческие книги. Таким образом, греки находились в такой же точно опасности „олатыниться“, в какой и южноруссы в своих на католический манер устроенных школах. И для тех, и для других языком науки была латынь, а не греческий язык. При этих условиях зачем было учиться у грека, когда легче можно было учиться у своего же русского учителя? И зачем было прилежать к изучению греческого языка, когда все равно необходимо было, с большею научною пользою, изучать латинский язык? Если бы в таких условиях греки приложили с своей стороны особые усилия овладеть московской школой, они, быть может, и успели бы укрепиться в Москве. Но никаких усилий они в этом отношении не делали; история греческих школ в Москве в XVII веке открывает нам печальную картину того, что все попытки московского правительства получить

учителей с греческого Востока оставались неудовлетворенными вследствие невнимания греческих церковных властей или неумения их сыскать пригодных для дела людей. Возникавшие в Москве греческие школы неизменно закрывались по непригодности руководителей, и на Востоке равнодушно относились к этому постыдному для греков явлению. Даже в таком важном для всего православного мира вопросе, как основание в Москве высшей православной школы, греки сыграли плохую роль. Проект такой школы („академии“) вышел из круга ученых киевлян, от Симеона Полоцкого и его учеников (Сильвестра Медведева). Он был утвержден правительством царевны Софьи в 1682 году, в ту пору, когда в высшем московском духовенстве шла полным ходом реакция против киевских ученых, как „латинствующих“. Против их „латинского учения“ патриарх Иоаким пытался даже создать „греческое учение“ в особой школе, устроенной в 1679 году. Его стараниями в периоде своего осуществления и московская „академия“ стала на путь учения греческого, а не латинского (1685 г.). Преподавание в ней было вверено выписанным с Востока грекам братьям Лихудам, а киевляне с их московскими учениками были от академии отстранены. Казалось бы, что дело крепко попало в греческие руки, и грекам надобно было только его не портить. Но они его испортили. Характер преподавания Лихудов не отличался в существе от преподавания „латинского“, ибо сами они учились в Венеции и были докторами Падуанского университета. На это и указывали обойденные властями киевляне и их ученики. Они подвергали критике и самое достоинство преподавания Лихудов, находя его неуспешным. Личное же поведение Лихудов и их сыновей, далеко не нравственное, давало еще большую пищу для обвинений. На него указывал и тот самый патриарх Иерусалимский Досифей, который рекомендовал Лихудов московским властям. В результате всех обвинений, кляуз и интриг Лихуды бежали из Москвы, были пойманы и возвращены, но уже не попали в академию, а превратились в учителей итальянского языка. Академия же постепенно перешла в руки людей „латинского учения“, питомцев Киевской акаде-

мии, которые ввели в ее устройство и деятельность порядки, заведенные исстари в Киеве, и сообщили ей свой дух и направление. Так окончательно упрочилось в московской жизни духовное образование, принесенное с Украины.

Облеченное во внешние формы польской культуры, это духовное образование, принесенное в Москву с Украины, неизбежно должно было стать проводником польского влияния на москвичей. Так оно и было. Не говорим о тех внешних заимствованиях, какие от Польши прививались к московскому быту путем обычных житейских сношений; такого рода заимствований в Москве всегда было довольно, и в торговых московских рядах всегда можно было купить „мыло польское“, рукавицы „персчатые“ и шапки „на польскую руку“ и другие предметы „польского дела“ или польского фасона. Независимо от этого рода усвоений, верхние слои московского населения, вместе с богословскою ученостью, стали перенимать от южно-русских учителей польский язык и вкус к польской литературе, стали усваивать польские обычаи и польскую внешность. Польская мода заразила даже самый Кремлевский дворец. Воспитанник Симеона Полоцкого, царь Федор Алексеевич был очень склонен к польским новшествам. Он владел польским языком и, по свидетельству современников, „не точию нашим природным, но и ляцким (польским) языком“ читал книги, любил польское платье, польскую музыку и напевы. В боярстве явился вкус к „клейнотам“ (гербам) и генеалогическим разысканиям фантастического характера, к портретам и иконам на польский манер, исполняемым польскими живописцами. Некоторые бояре усвоили своей дворне польские ливреи и сами любили рядиться в польские костюмы, „сабли у боку и польские кунтуши носить“. В их библиотеках появились в значительном количестве польские книги. Чрезвычайно развились переводы с польского и латинского произведений польской литературы, от серьезных книг до романов и скабрезных „фацеций“ и „жартов“. Новины „с манеру польского“ стали, словом, соперничать с новинами немецкими.

V

Мы стали теперь у порога так называемой „эпохи преобразований“ Петра Великого. В тот момент, когда Петр взял в свои руки управление государством, это государство уже ввело у себя много нового, взятого у иноземцев, жило под их культурным влиянием и под давлением их капитала. По сознанию людей старого московского уклада, „мир весь качался“ и надо было спасать „последнюю Русь“. По убеждению же практических руководителей московской политики, „последняя Русь“ должна была меняться: они думали, что „доброму не стыдно навыкать со стороны, у чужих, даже у своих врагов“. По известным словам С. М. Соловьева, „необходимость движения на новый путь была сознана;... народ поднялся и собрался в дорогу;... ждали вождя, — и вождь явился“. Это и был Петр [1]).

Каково же было отношение Петра к окружавшей его современности и в чем заключалась его историческая роль? Должны ли мы следовать старому взгляду Чаадаева, который утверждал, что гений Петра отрекся от древней России перед лицом целого мира и вырыл пропасть между нашим прошедшим и нашим настоящим? Или же мы усвоим позднейший взгляд П. Милюкова, по которому Петр не играл руководящей роли в его собственных „реформах“ и, как опрометчиво выразилась Екатерина II, „сам не знал, какие законы учредить для государства надобно?“. По отзыву Милюкова о государственной реформе Петра, „стихийно - подготовленная, коллективно-обсужденная, эта реформа ...только из вторых рук, случайными отрывками проникала в его сознание“; „вопросы ставила жизнь, формулировали более или менее способные и знающие люди, царь схватывал иногда главную мысль формулировки или (и, может быть, чаще) ухватывался за ее прикладной вывод“.

---

[1]) „Собрание сочинений С. М. Соловьева“. Стр. 1001. („Публичные чтения о Петре Великом“).

Чтобы ответить на поставленные вопросы, определим сначала, как сложилась самая личность Петра и под какими культурными воздействиями он рос.

Очень известна та семейная смута, в которой пришлось расти Петру. Поднятые дворцовыми интригами, московские стрелецкие полки, в мае 1682 года, устроили кровавую расправу над некоторыми боярскими кружками во дворце и в городе. Можно сказать, что первым сознательным впечатлением Петра, на десятом году его жизни, была эта бойня, вызванная враждою старших детей царя Алексея к их мачехе, матери Петра, и к ее родне. В дни бунта стрельцы окружали Петра и его мать, при них терзали и убивали их родню и бояр. Петр видел своими глазами кровь и мучения, трепетал от ужаса в толпе стрельцов и ждал от них себе смерти. Много лет спустя он признавался, что при одном воспоминании о стрельцах он весь дрожит: „помысля о том, заснуть не могу“, — говорил он. Мучительны были дни бунта — три долгих дня убийств и насилий; но не менее мучительно было и последующее время. Стрельцы волновались все лето и всю осень 1682 года. Царская семья уехала от них из Москвы и странствовала в тревоге вокруг столицы по монастырям и дворцовым селам. Охраняя сына от стрельцов, Наталья Кирилловна должна была беречь его и от ближних недругов — его сестры Софьи и родных ей Милославских. Мальчик жил в постоянном страхе, хотя и носил сан царя. Не власть и почет принесло ему его воцарение, а ужасы и горе. Понятно, что когда захватившая власть Софья сочла возможным вернуться в Московский дворец по усмирении стрельцов, — то Петр с матерью не с охотою туда ехал. Кремлевские палаты и терема пугали молодого царя: они были залиты родною ему кровью; в них жить ему было жутко и страшно от явных и тайных врагов. Стоит хорошенько вдуматься в это, чтобы понять, почему Петр никогда не любил Кремля и ненавидел стрельцов. Он с матерью предпочитал житье в подмосковных „потешных селах“ (в дачных селах) и только по необходимости бывал в Москве. Для него и Москва, и Кремлевский дворец, и придворные люди стали чужды и неприятны. С холодом в сердце смотрел он

на те величавые покои, в которых жили его отец и дед и в которых сосредоточивалась вся их государственная работа. Старая Москва совсем не была дорога Петру.

Прошло семь лет и между Петром и Софьею дело дошло до открытого разрыва. В августе 1689 года Петр испытал новый приступ страха. Он жил в Преображенском селе под Москвою; однажды ночью ему дали знать, что из Москвы от Софьи идут стрельцы убить его и что ему надо скорее бежать. Петр в испуге помчался в крепкий Троице-Сергиев монастырь, причем выскочил из своего дворца, не успев даже одеться. О нем официально одни говорили, что изволил он „итти скорым походом, в одной сорочке"; „царя из Преображенского согнали", прибавляли другие: „ушел он бос в одной сорочке". Правда, Софья не признавалась, что посылала стрельцов против брата; стрелецкий начальник дьяк Шакловитый тоже отрицал всякое покушение на Петра: „вольно ему взбесясь бегать",—с досадою говорил он про Петра. Но если даже допустить, что Петра вспугнули напрасно, все-таки он пережил тяжелые минуты и еще больше озлобился против старого московского порядка. Стрельцы понесли суровое наказание; Шакловитый был казнен; Софья должна была оставить правительство и уйти на житье в монастырь. Государство перешло в руки Петра. Однако, этим смуты в Москве не кончились. Через девять лет опять поднялся стрелецкий бунт, в то время, когда Петр был за границей. В августе 1698 года Петр поспешно возратился в Москву, произвел страшный „розыск" над стрельцами с сотнями пыток и казней и вовсе уничтожил стрелецкое войско. С необыкновенною жестокостью он лил целые реки крови, потому что считал это единственным средством одолеть своих недругов.

Так влияла на Петра обстановка его детства и молодости. Она потрясла его нервы рядом опасностей; она воспитала в нем ненависть к московским порядкам и жестокость к враждебным ему людям; она разрушила его семейное спокойствие и согласие. Словом, она лишила его безмятежного счастья и тихих радостей первой юности. Начало жизни Петра было очень несчастным и испортило его здоровье. и его характер.

Мало того: несчастное детство помешало правильному обучению и воспитанию Петра.

Пока маленький Петр жил с матерью в теремах московского дворца, его жизнь протекала по обычному придворному „чину". Окруженный „мамами" (няньками), а затем „дядьками" и „робятками", с которыми он „тешился", Петр проводил свое время в играх военного характера. Царевичу то и дело готовили и покупали „потешные" луки, знамена („прапоры"), барабанцы, золоченые пушечки, деревянные ружья („карабины и пищали"), топорки и сабельки. Лет пяти Петра посадили за ученье. Дьяк Зотов стал обучать его азбуке и складам и по старому обычаю читал и учил с царевичем Часослов, потом Псалтырь, потом Деяния и Евангелие. Тогда же Петр начал и писать. Читал и запоминал он хорошо, а писал плохо. „Почерка его ничто не может быть безобразнее", — сказал один ученый, имевший дело с рукописями Петра. Учился ли Петр в эту пору арифметике („цыфири"), точно неизвестно. Вслед за грамотою и письмом, по обычаям того времени, должно было следовать „граматичное" учение. К царевичу должен был бы явиться ученый монах и начать с ним изучение школьной науки того времени, именно: латинского языка, пиитики, реторики и богословия. Так учились все старшие братья (и даже сестры) царевича Петра, под руководством известного нам Симеона Полоцкого, бывшего образцовым представителем тогдашней схоластической науки. Так бы должен был учиться и сам Петр. Но когда грянул стрелецкий бунт, о монашеской науке не стало речи. Софья не думала об образовании нелюбимого брата. Царица же Наталья Кирилловна совсем не желала пускать к сыну ученых монахов. Они в те годы „прилепились" к Софье и Милославским, держали их сторону, а потому царице должны были казаться опасными недругами. Вот причины, по которым Петр остался недоучкою и не испытывал на себе влияния богословских и схоластических наук, которые в то время считались необходимыми для православного образованного человека.

Оставленный без „науки", мальчик сам находил себе забавы и занятия. „Потешные" села (за исключением разве

одного Коломенского) ничем не напоминали Кремлевского дворца. Вместо больших „палат“ и „теремов“, для царского пребывания там служили обыкновенные, хотя и очень просторные, деревянные дома, в которых никак нельзя было поместить большой свиты. Толпу знатных придворных здесь заменяло небольшое число простой прислуги. Вместо Кремлевских площадей и дворов „за решеткой“, потешные дворцы окружены были садами и огородами, а за ними шли привольные поля и рощи. Рядом с потешными усадьбами стояли простые села дворцовых крестьян. В своем Преображенском или Измайлове маленький царь жил не государем, а помещиком. Он широко пользовался простором и простотою сельской обстановки. С дворовыми мальчишками и молодыми слугами — с „преображенскими конюхами“, как их называли в Москве, — Петр создал себе особую, шумную и веселую жизнь. Как раньше в Москве, так и теперь он занят военными играми. Из своих „конюхов“ он образовал „полки“, названные по селам, где они помещались, — Преображенским и Семеновским; они составляли небольшую „потешную“ компанию, с которою царь на сельском просторе играл в войну. Около села Преображенского Петр построил себе „потешный городок“ (крепость), по имени Пресбург, вооружил его пушками и в нем начал „службу“, во всем подражая настоящим военным порядкам. „Потеха“ понемногу принимала вид серьезного дела, и Петр, в увлечении ею, начал учиться тому, что должен был знать военный человек. Между шумными забавами присаживался он с немцем-учителем за „цыфирь“ и упражнялся в четырех правилах арифметики, называя их по-латыни: „адицыя“, „супстракцыя“, „мултопликацыя“, „дивизия“. Одолев их, перешел он к геометрии и фортификации; затем, чтобы знать, как надлежит строить крепостные стены, как мерить расстояния астролябией или как определить („когда хочешь на уреченное место стрелять“), „сколь далече бомба пала“. Всем этим занятным „мудростям“ весело было учиться, потому что знания можно было тотчас пустить в дело. Было где построить укрепление, было где пустить бомбу. Так из детских игр, не стесненных городскою теснотою и строгим порядком боль-

шого дворца, выросла у Петра любовь к точным практическим (прикладным) знаниям. Незаметно для себя Петр готовился стать математиком и техником, тогда как его братья и сестры все были по образованию богословами.

Если за богословскою наукою москвичи должны были тогда обращаться к ученым монахам, грекам и малороссам, то за техническими указаниями надобно было итти к „немцам". Петр должен был их видеть на каждом шагу. Придворные доктора и аптекари, дворцовые садовники, часовщики и всякие „мастера" были из „немцев". Почти рядом с селом Преображенским стояла большая Немецкая слобода, в которой жили служилые и торговые немцы. Как только Петр стал интересоваться военною наукою, он обратился к немцам в слободу. Оттуда он добыл себе учителей математики и военного дела; оттуда явились к нему мастера „корабельной архитектуры", научившие его строить суда и управлять парусами; оттуда, наконец, пришло к нему знание иностранных языков — голландского и немецкого. Вся семья Петра еще при царе Алексее привыкла пользоваться знаниями и услугами немцев; но никто не привязался к немцам так, как Петр. Он не только приближал их к себе в своих забавах и занятиях, но и завел с ними близкое и дружеское знакомство. Он ездил к ним в их слободу и бывал в их домах и церквах (кирках). Он у них учился и веселился: танцовал на их вечеринках, пировал на их пирушках. И в то время, как одни иностранцы имели на Петра самое хорошее влияние, другие его портили и развращали. Известный нам Патрик Гордон всегда был для Петра серьезным учителем и советником. Швейцарец Франц Лефорт, возведенный Петром в генералы и ставший со временем другом Петра, был ему во многом полезен, но своими пирами и разгулом нанес Петру не мало и вреда. Под влиянием друзей-немцев молодой царь стал явно отставать от стародавних обычаев московской жизни, „обасурманел", как говорили москвичи. Про него твердили, что он „уклонился в потехи, оставя лучшее, начал творити всем печальное и плачевное". „Не честь он, государь, делает, — бесчестье себе", — прибавляли другие, осуждая поведение Петра.

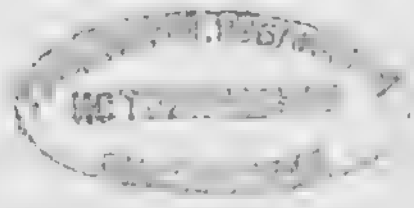
Таков был результат никем непредвиденных, никем сознательно не подготовленных условий, образовавших характер Петра. Оторванность от дворцовых традиций и старого уклада придворной жизни, отсутствие „науки", слабая степень благовоспитанности (того „чина", какой соблюдался степенными москвичами), явный наклон в сторону „немцев" с их техникой и военщиной и полная свобода от влияния школьной схоластики киевлян и греков, — вот характерные черты молодого Петра. Он был новым типом в царском семействе, еще небывалым культурным явлением на вершинах московского общества. Ему ничего не стоило оторваться от старины, потому что случайно он вырос не в старинных условиях и ничем в них дорожить не мог. Напротив, личная ненависть к Софье и к ее родне — Милославским — в душе Петра переходила в неприязнь общую к тому дворцу, в котором жила и правила Софья, к тому войску, на которое она опиралась, к той администрации, с помощью которой она действовала. Дворцовую партию Петр склонен был отожествлять со всем правительством, со всей системою. Не дорожа старым, он не только легко им жертвовал для новых форм жизни и власти, но часто с враждебным чувством осуждал и гнал это старое. Такой прием, рожденный личною враждою, сообщил деятельности Петра острый и бурный, прямо революционный характер, хотя на деле Петр и не думал об общем политическом или социальном перевороте и не вырывал никакой „пропасти" между старой и новой Россией.

Обладая всей полнотою самодержавной власти и избытком властолюбия, Петр только дал волю своим наклонностям, воспринятым в детстве, и своим взглядам, воспитанным обстановкою его юности. „Немецкое" влияние получило необыкновенную силу, западно-европейские формы жизни стали официально образцом для правящих московских сфер, — потому что царь с детства к ним привык и ими увлекался. Монахи южно-русские и греческие ограничились своею специальною сферою церковного управления и учения, — потому что дворец нового государя не интересовался их наукою, их орациями и виршами, вне церковных празднеств и парадов. Защитники

„последней Руси“, то-есть старых фикций национального превосходства и богоизбранности Москвы, рассматривались как вредный оппозиционный элемент и жили под страхом репрессий. В этом всем и заключалась культурная реформа. В ней было больше сознательности, чем принципиальности. Петр знал, чего он хотел; но он был практиком, а не теоретиком, и не возводил к отвлеченным принципам того, что предпринимал ради государственной пользы и общественного просвещения, не строил сам и не принимал со стороны широких утопических планов преобразований, при которых „стрелка мудрости показывала бы часы благоденствия“ его монархии. Давая ход „немецкому“ влиянию и строя государственную машину „с манеру голандского“ или „с манеру шведского“, он знал, что в результате последует пересадка на русскую почву западно-европейских учреждений и культурное сближение Руси с Европой. И для этого он работал отчетливо и вполне сознательно, что документально устанавливается его собственными рукописями. Не из вторых рук постигал он смысл того или иного мероприятия, как думает Милюков, а своими руками творил и обрабатывал тексты законов, в своей голове вынашивал идеи и формы их. Один из рано угасших знатоков Петровской эпохи, полемизируя со взглядом Милюкова, справедливо писал: „Из напечатанных во множестве собственноручных бумаг Петра хорошо видно, что он был не только мореплавателем и плотником, корабельным мастером и токарем, но и усидчивым кабинетным работником. Его многочисленные письма (большею частью, собственноручные) первой половины царствования показывают, что он не теряется в деталях, но действительно руководит всем обширным делом снаряжения армии и обороны страны, что он постоянными, настойчивыми напоминаниями возбуждает энергию сенаторов и генералов. В законодательных делах второй половины царствования Петр с той же неистощимой энергией работал пером, с какою он работал на верфи топором. Над выработкой морского устава Петр трудился в течение 5 месяцев, по четыре дня в неделю, с 5 часов утра до полудня и с 4 часов дня до 11 час. вечера. Бо́льшая часть рукописи

этого устава написана его рукою, остальная испещрена его поправками; чужая редакция редко удовлетворяла такого стилиста, каким был Петр. В Сенатском архиве хранятся черновики коллежских уставов с длинными собственноручными вставками и многочисленными поправками царя. Значительная часть указов Петра, и в том числе такие указы, как о майорате и о должности генерал-прокурора, были выработаны самим Петром. Из поданного Петру проекта указа о должности генерал-прокурора он взял только первую статью, остальные 11 статей написал сам; четыре раза проект указа переписывался канцеляристами Кабинета и каждый раз испещрялся все новыми и новыми поправками Петра. По этим поправкам можно проследить, как Петр вполне самостоятельно, далеко оставив первоначальный чужой проект, постепенно вырабатывал институт прокуратуры, составивший один из краеугольных камней учреждения Петровского Сената“ [1]). Такой отзыв не склонного к идеализации Петра и отлично знавшего его эпоху историка твердо устанавливает компетентность и сознательность Петра.

Застав свою страну под разными культурными влияниями, Петр дал простор одному из них и все свои силы отдал для его окончательного торжества. Мы теперь вполне понимаем, почему он его выбрал и как он для него трудился.



[1]) Этот отрывок взят из любопытной статьи Н. П. Павлова-Сильванского „Об историческом самоунижении“ (в „С.-Петербургских Ведомостях“ 1901 г., 10-го сентября, № 248). Статья подписана псевдонимом „Лесовик“.

Книгоиздательство „СЕЯТЕЛЬ“ Е. В. Высоцкого.

Ленинград, пр. Володарского 34. Тел. 2-10-20 и 5-47-76.

Проф. **Н. А. Гредескул.—ПРОИСХОЖДЕНИЕ и РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.** Том первый. Биологические основы социологии. Коммунизм в биологии. Его роль, как фактора эволюции. Стр. 279. 1925 г. Цена 2 р. 25 к.

„Появление этой книги нельзя не приветствовать. Потребность в создании генетической социологии (науки о развитии общественной жизни) в марксистской разработке вопросов дочеловеческой общественности и ее связи с человеческой общественностью — эта потребность, можно сказать, витает в воздухе и, к сожалению, до появления книги проф. Гредескула не находила достаточного внимания. Автор берется проложить первый путь в этой, поистине „девственной“, области и это нельзя не считать его большой заслугой“.

„Язык книги живой, местами увлекательный“. („Ленинградская Правда“. Ленинград. № 42, за 20/II-1925 г.).

Проф. **В. М. Штейн.—РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ.** Том I. Физиократы и классики. Стр. 272. 1925 г. Цена 2 руб.

„Содержание книги не оставляет желать ничего лучшего. В авторе чувствуется серьезный и вдумчивый историк-экономист. Особенно хорошо разработана у него система физиократизма, все значение которого в истории политической экономии еще до сих пор, кажется, неоценено“.

„Книга написана хорошо и свежим языком. Цена сравнительно недорога“. („Книгоноша“ № 5, за 12/II - 25 г.)

Н. В. Болдырев и С. Я. Гессен.—СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПА. Экономический и политический обзор всех государств Западной Европы после войны. Стр. 255. 1925 г. Цена 2 р.

„Современная Европа“—первый труд на русском языке, пытающийся быть зеркалом теперешнего состояния Европы. Авторы, совершенно игнорируя общие рассуждения, сумели отразить в небольших, но выразительных, наполненных фактическим материалом очерках каждое государство.

„Современная Европа“—незаменимая настольная книга для каждого человека, интересующегося совершающимися вокруг него событиями. („Правда Востока“ № 46 за 28/II - 25 г.)

Проф. **Н. И. Кареев.—ДВЕ АНГЛИЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XVII ВЕКА.** Стран. 272. 1924 г. Цена 1 р. 50 к.

„Этюд проф. Кареева имеет в виду читателя, ищущего пополнения своих исторических знаний посредством книги, не лишенной „занимательности“ и, вместе с тем, дающей научную трактовку разбираемого вопроса. Революционное движение очерчено проф. Кареевым достаточно ярко на фоне сложных взаимоотношений социальных, политических и культурных“.

„Книжка дает в руки и учителю, и ученику богатый материал по новой истории“. („Педагогическая Мысль“ № 4 — 5, за 1924 г.).

Проф. **Н. И. Кареев.—ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ.** Стран. 154. 1924 г. Цена 90 к.

„Как отразилась французская революция в историческом романе — тема совершенно новая, и интересно, что за разработку ее взялся такой знаток французской революции, как Н. И. Кареев. Для преподавателя же эта книга

важна тем, что автор подходит к анализируемым романам „не так, как стал бы говорить литературный критик, а именно, как историк, имея в виду не форму, а содержание этих романов, взятые притом со стороны его соответствия с действительностью“. („Педагогическая Мысль“ № 4—5, за 1924 г.)

С. В. Сигрист.—У ПОРОГА ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ. Балканы, как очаг европейских столкновений. Стр. 123. 1924 г. Цена 80 к.

„Автор удачно избрал свою тему. Нельзя не подчеркнуть значения Балкан, как „очага европейских столкновений“. Разработка автором его темы представляется не менее удачной“. (Хозяйство Сев.-Зап. Края. Ленинград. № 9 за XII-24 г.)

Акад. **С. Ф. Платонов. — МОСКВА И ЗАПАД В XVI—XVII ВЕКАХ.** Стр. 150. 1925 г.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ АВТОРА: „Автор почувствует себя вполне удовлетворенным если внушит читателям убеждение, что связь Московской Руси с Европейским Западом завязалась ранее и была крепче, чем обычно принято думать“.

СОЦИАЛЬНАЯ БОРЬБА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ XIX ВЕКА В ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТАХ. Составил **С. Шафт.** Часть I, первая половина столетия. Стр. 295. 1925 г. Цена 2 руб.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ АВТОРА: „Настоящий сборник исторических документов и литературных материалов относящихся к XIX столетию, предназначается не для специалистов-историков, а для широкого круга лиц, интересующихся историей XIX века“.

А. Н. Шебунин.—ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ в ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ XIX-го ВЕКА. С предисловием проф. Я. Захера. (Печатается).

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ Я. ЗАХЕРА: „Книга А. Н. Шебунина хотя и написана без ученого аппарата, в значительной степени основана на первоисточниках, что придает ей характер не только научно-популярной, но и исследовательской работы. Соединение научности и популярности удалось автору блестяще, и мы надеемся, что книга не только в значительной степени заполнит пробел в русской, научно-популярной литературе, но и займет достаточно видное место в ряду посвященных вопросам новейшей истории исследовательских работ“.

Стефан Гроссман.—ФЕРДИНАНД ЛАССАЛЬ. Перевод А. Н. Карасика. Под ред. А. Г. Горнфельда. 2-е издание с предисловием проф. В. В. Святловского. (Печатается).

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ: Лассаль—подросток и юноша. Героическая эпоха. Лассаль перед судом. Любовный эпизод. Лассаль против печати. Последняя страница.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ В. В. СВЯТЛОВСКОГО: „Мы надеемся, что книжка Гроссмана, которая покажет Лассаля вблизи, заставит читателя полюбить этого первого рабочего трибуна, этого человека с великой „пламенеющей“ душой, к которому, как верно указывает Гроссман, германская демократия была менее благосклонна, чем к политическим посредственностям“.

Книгоиздательство „СЕНТЕЛЬ“ Е. В. Высоцкого.

Ленинград, пр. Володарского 34. Тел. 2-10-20 и 5-47-76.

Из серии «Победы техники».

Техника пара и газа, под. ред. проф. А. ПЕТРОВСКОГО 2 50
ДЖИЛЬПРЕТ Х.—Психология управления предприятиями (распр.) . 1 80

Естествознание.

БУЛИНКОВ Ш. А.—Биологическ. беседы. 3-е изд., соверш. перераб. 1 25
ЕГО ЖЕ. Опытная ботаника 1 40
ВАСИЛЬЕВ Ю. А., д-р.—Очерки физиологии духа (распр.) . . . . . — 85
ГЕРД С.— Школьный кружок любителей природы. (распр.) . . . 1 70
МОРГАН Т. и ФИЛИПЧЕНКО Ю. А. Наследственны ли приобретенные признаки. . . . . — 25
НЕМИЛОВ А. В.,—проф. Биологическая трагедия женщины (распр.) — 90
ПОРКА Ник. — Строители живого тела. (Очерки физиологии внутренней секреции) 1 25
РАЙКОВ В. Е., проф.—Книжка для практич. работ по неживой природе. Пособие для учащихся . . . . . — 85
ФИЛИПЧЕНКО Ю. А., проф.—Общедоступн. биолог., 4-е изд. испр. и доп. 1 20
ЕГО ЖЕ.—Происхождение домашних животных . . . . . — 70
ШМИДТ Е. Ш., проф.—Сила жизни. Биологический очерк . . . . — 65

География:

География, как наука и как учебный предмет. Сборник статей под ред. проф. *С. П. Аржанова.* 1 20
ИВАНОВ Г. И.—Начальн. курс географии. Части I и III по . . . . — 85
ЕГО ЖЕ. Часть II . . . . . — 70
КОТЦЕ Р.—Древность земли. . . . . — 60
ЛУШАН Ф.—Народы, расы и языки. 1 75

Педагогика.

Трудовая школа в свете истории и современности. Сборник статей под ред. проф. *М. М. Рубинштейна* (распр., печ. 2-е изд.) 2 —
ВЕНИЛЕР Э.—Гусята (Народное образование в Америке) . . . . — 90

История.

ГРОССМАН С.—Фердинанд Лассаль.—Перевод с немецкого. (2-ое изд.) 1 25
КАРЕЕВ Н. И., проф.—Очерки по социально-экономич. истории Западной Европы в новейшее время. 1 50
ЕГО ЖЕ.—Французская революция в историческом романе. . . — 90
ЕГО ЖЕ.—Две английские революции XVII века 1 50
ПОЦ Е. С.—Крестьянские движения в России (распр.) 1 30
ЛОЗИНСКИЙ С. Г., проф.—История древнего мира—Греция и Рим. 1 10
ЕГО ЖЕ.—Средневековые ростовщики. (распр.) . . . . . — 90
ОЛАР А.—Культ Разума и Культ Верховного Существа во время франц. Революции (распр.) 1 50
ПЛАТОНОВ С. Ф., акад.—Москва и Запад в XVI—XVII веках . . — —
СИГРИСТ С. В.—У порога Великой войны . . . . . — 80
ТАРЛЕ Е. В., проф. — Европа от Венского конгресса до Версальского мира 1 50
ТХОРЖЕВСКИЙ С. И.—Народные волнения при первых Романовых. 1 25
ВОЛЬТЕР Ф. А. — Мемуары и памфлеты (распр.) . . . . . 1 —

Обществоведение и экономика.

Библиот. Обществ. под ред. проф. *Н. Г. Тарасова.*

Т. I. Жизнь общества в первичных формах и сложных образованиях античного рабовладельческого мира. (3-е изд.) . . . . . 2 —
Т. II. Формы организации труда и общества в Европе в эпоху преобладания натурального хозяйства и развития средиземно-морской торговли (2-е изд.) 2

Цена 1 р. 25 к.

Книгоиздательство „СЕЯТЕЛЬ" Е. В. Высоцкого.

Ленинград, пр. Володарского, 34. Телеф. №№ 2-10-80 и 5-47-73.

Т. III. Жизнь общества в эпоху океанической торговли, зарождения мировых рынков и капитализма (2-е изд.) 1 75
Т. IV. Жизнь общества в эпоху новейшей мировой торговли, капиталистич. промышленности и развития социализма (2-е изд.) 2 25
Т. V. Капитализм и социализм. Экономические и государственно-правовые основы жизни общества 1 50
АНЦИФЕРОВ.—Пути изучения города, как социального организма. 1 25
БОЛДЫРЕВ Н. В. проф. и С. Я. ГЕССЕН.—Современная Европа (распр.) 2 —
БРОДЕРИК ДЖ.—Современное экономич. положение Соедин. Штатов С.-А. . . . . — —
ВИНТЕР Г.—Путь к повышению производительности труда (распр.) — 25
ГРЕДЕСКУЛ Н. А.—Происхождение и развитие обществен. жизни. 2 25
КУЛИШЕР И. М. Проф.—Очерк экономической истории Древней Греции. 1 85
СИНКЛЕР ЭНТОН.—Книга об Обществе . . . . . — —
ФОРЛЕНДЕР К.—История социалистических идей . . . . . — 85
ФОЙХТ А.—проф.—Техническая экономика. 1 25
ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ И. Г., проф.—Пророки-Чудотворцы . . . . — 55
ШАФТ С.—Социальная борьба в Западной Европе XIX века . . 2 —
ШТЕЙН В. М., проф. — Развитие экономической мысли. т. I. Физиократы и классики . . . . . 2 —

Литература и родной язык.

АРТЮШКОВ Р.—Звук и стих. Соврем. исслед. фонетики русск. стиха — 50
АЛЬБАЛА ЛИТУАН.—Искусство писателя. С предисл. *А. Гофшбельда.* 1 —
ВОЛЬНЕР Ж. И.—Справочник по этимологии русского яз. в табл. — 40
ЕГО ЖЕ.—Новый орфографический словарь . . . . . — 50
ЕГО ЖЕ.—Правила правописания. . . . . — 20
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА в ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ сост. *П. Левин.* и *Н. Троцкий* 1 30
КАРСКИЙ Е. Ф., акад.—Диалектология. 2 50
КЛЕЙНБОРТ Л. М. — Очерки народной литературы (1880 — 1923) . 2 75
ЖИРОНОСИЦКИЙ Н. П.—Словечко—букварь . . . . . — 50
ЕГО ЖЕ.—Как обучать грамоте по „Словечку" (Методические указания для учителей) . . . . . — 40
Письма В. Г. КОРОЛЕНКО и А. Г. ГОРКФЕЛЬДУ. 1 40
РЕДЬКО А. Е.—Литературно-художеств. искания за последние 25 лет. 2 —
СОЛОВЕЕВА С. Е. и ТИХЕЕВЫ Е. И. и Л. И. Русская грамота. Первая после букваря книга для чтения . . . . . — 70
СИПОВСКИЙ В. В., проф.—Поэзия народа. Пролетарская и крестьянская лирика наших дней . . . . . — 70
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ТУРГЕНЕВА. — Сборник статей под редакцией *Н. Л. Бродского.* 2 75
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ДОСТОЕВСКОГО—Сборник статей под редакцией *Н. Л. Бродского.* . . . . . 2 —
ЭНГЕЛЬГАРДТ Э.—Рабиндранат Тагор, как человек, поэт и мыслитель 1 50

Иностранные языки:

ДОДЕ А.—Малыш 1 10
ФЕХНЕР Э. Методика преподав. немецкого языка в русской школе 1 75